

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал
Харьковского отделения Союза писателей России

Том 14–15
2013

ХАРЬКОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ганичев В.Н. — председатель Правления Союза писателей России, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических наук, профессор.

Котькало С.И. — сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного русского народного собора.

Скворцов К.В. — секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru
тел./факс +38 (057) 700-40-25

Светлана ЛИГОСТАЕВА

ПРИКОСНУВШИСЬ РУКОЙ - ПЕРЕДАЙ СВОЮ ДУШУ...

Харьков — первый город в Украине, где открылось отделение Союза писателей России. За прошедшие семь лет с участием русскоязычных писателей здесь состоялись десятки мероприятий, направленных на укрепление украинско-российских культурных связей. Интервью с председателем Харьковского отделения Союза писателей России Александром Георгиевичем Романовским, проректором по научно-педагогической работе НТУ «ХПИ», доктором педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой педагогики и психологии управления социальными системами, секретарем СП России, одним из создателей журнала «Славянин» готовилось накануне Крещения Господня, последнего рождественского праздника 2013 года. В литературной среде он известен как поэт, на стихи которого написано более 60 песен, романсов, церковных хоралов. Поэтому и разговор о делах писательской организации мы начали с главного — с духовности современной литературы.

— Александр Георгиевич, в Харьковском отделении Союза писателей России, который Вы возглавляете, до полусотни человек. Конечно, все они работают в разных жанрах литературы. Что для Вас и ваших коллег означает понятие «духовность»?

— Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что наша писательская организация очень требовательно подходит к приему новых членов. Мы создали её в 2006 году, тогда нас было всего восемь человек. И ежегодно мы растём — количество желающих стать в ряды профессиональной писательской организации намного превышает число принятых. Мы обстоятельно знакомимся с творчеством претендентов, их профессиональным потенциалом, духовно-

* СПРАВКА. Александр Георгиевич Романовский родился 26 января 1953 г. в с. Занадворовка в Приморском крае на Дальнем Востоке в семье офицера. В 1974 г. окончил Харьковский инженерно-строительный институт. Работал мастером, прорабом, начальником участка, начальником специализированного

нравственными принципами. В творчестве наших новых коллег мы не приемлем цинизма, неверия в вечные духовные ценности, к судьбам современного общества и каждого человека в отдельности. Профессиональный писатель — это всегда созидатель, творец в самом высоком, духовном понимании этого слова. Это и есть наше понимание духовности — любовь к жизни, ко всему, что создано Богом, к жизни по закону Божьему...

Каков творческий потенциал организации? Кого больше - прозаиков или поэтов?

— Можно сказать, их поровну. И я считаю, все талантливы. Некоторые, как Инна Мельницкая, Ирина Глебова, Анатолий Мирошниченко пишут и стихи, и прозу. Примерно половина членов нашей организации состоит также в Национальном союзе писателей Украины, других творческих объединениях и ассоциациях. Среди наших поэтов есть лауреаты международных премий. К примеру, Василий Воргуль и Анатолий Мирошниченко награждены учрежденной в Москве литературной премией имени Эдуарда Володина «Имперская культура», Инна Мельницкая — российской премией имени Юрия Долгорукого.

Известно также, что и Вы лауреат международной литературной премии имени Эдуарда Володина «Имперская культура» за 2010 год, и всероссийской литературной премии имени Николая Гумилева за 2011 год... Александр Георгиевич, вы верующий человек, часто встречались с ныне покойным митрополитом Харьковским и Богодуховским Никодимом, регулярно посещаете службу в храме, а в поездках в Россию стараетесь обязательно посетить святые места. Не в этом ли берут начало инициативы, которые вы и ставшие привычными для харьковчан творческие вечера «Колокольный звон Пасхальный»?

строительного управления. Служил офицером в Казахстане, где строил подземные шахты для пусковых комплексов ракет стратегического назначения СС-20. С 1981 г. и по настоящий день работает проректором Харьковского политехнического института (ныне Национального технического университета

— Для меня творчество и есть духовность. Я начал писать стихи в юности, как многие молодые люди, но долго никому не показывал их, не афишировал свое увлечение. С годами пришла уверенность в себе, понимание того, что в моей поэзии могут нуждаться люди, для которых слово Бог не пустой звук. Так я решился на выпуск своей первой книги стихов «Прикоснувшись рукой, передай свою душу...»

Что касается праздника духовной поэзии и музыки «Колокольный звон пасхальный», то впервые я провел его в Киеве в 2007 году по приглашению столичной творческой интеллигенции. Мой творческий вечер прошел в Колонном зале Национальной филармонии Украины. Среди гостей были представители приграничной Белгородской области России, Посольства Российской Федерации в Украине, генконсульства РФ в Харькове, известные украинские учёные и общественные деятели, народные депутаты Украины, депутаты Харьковского областного совета, представители Харьковского землячества... Тогда же мы посетили Киево-Печерскую Лавру, встретились с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром, получили его духовное напутствие на продолжение начатого дела.

С мая 2008 года праздники славянской духовной поэзии и музыки «Колокольный звон пасхальный» традиционно проводятся во Дворце Студентов НТУ «ХПИ» с участием Камерного хора Харьковской филармонии им. Вячеслава Палкина – в рамках сотрудничества Харьковского областного совета и Белгородской областной думы. Ежегодно во Дворце студентов НТУ «ХПИ» в Пасхальные дни собираются тысячи поклонников.

Так вот, кажется на третьем «Колокольном звоне Пасхальном», выступая со сцены, Валерий Николаевич Ганичев, председатель Союза писателей России, обратил

«ХПИ»). В 1989 году защитил кандидатскую, в 2001 — докторскую диссертацию в области педагогических наук по специальности. В 2002 г. получил звание профессора. Член-корреспондент Инженерной академии Украины, по специальности «Экономика, право и управление в инженерной деятельности»

внимание на то, что у нас проходят уникальные творческие встречи. «Это больше, чем просто мероприятие, — сказал он, и добавил: — это праздник духа». С того времени мы именуем их не иначе как «праздник духовной поэзии и музыки».

Такие встречи в Пасхальные дни людей творческих с представителями вузовской и городской интеллигенции очищают душу, заряжают добротой, позитивной энергией, а участие в мероприятии представителей Украины, России и Белоруссии отражают общность духовных ценностей славянских народов.

В 2012 году мы провели «Колокольный звон Пасхальный» уже в шестой раз. За эти годы благодаря празднику с почитателями духовной музыки и поэзии встретились десятки поэтов Украины, России, Белоруссии, со сцены прозвучало несколько сотен стихотворений, в то числе — ныне покойного митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, других священнослужителей, звучали песни, романсы, церковные хоралы и самый настоящий колокольный звон...

О Вашей поэзии, на мой взгляд, точно сказал секретарь Союза писателей России Николай Дорошенко: «В стихах А. Романовского есть и красивая рифма, и глубокая вера, и стремление объединить земное и небесное. В них просматриваем одухотворенность автора и его мощный интеллект, что делает его стихи глубокими философскими размышлениями, независимо от того, пишет ли он о любви земной или о любви небесной. Чего в его стихах больше: поэзии или философии? Ответ один: его стихи это — философская поэзия. Тем и уникально творчество А. Романовского, что он не заменяет мысли чувствами». Как Вам удастся совмещать творчество с управлением? Ведь это такие разные сферы деятельности...

Творчество помогает мне лучше понимать суть и

(2004). Член-корреспондент Международной инженерной академии по специальности «Проблемы инженерного образования» (2004). Член-корреспондент Академии политических наук Украины. Академик Академии высшей школы Украины по отделению педагогики и психологии (2005).

назначение человека. Я ведь не зря назвал свою первую книгу «Прикоснувшись рукой – передай свою душу»... Управление любым коллективом – союзом писателей, учебной кафедрой, строительной организацией – будет эффективным, когда делаешь это с душой. Можно назвать это «одушевленным управлением»... И потому моя душа не засыхает в научно-административной деятельности. Она откликается на сильные проявления жизни – как и должно быть у поэта.

А как Харьков отнёсся к появлению в городе профессионального союза русскоязычных писателей? С чего всё началось?

— В ноябре 2003 года я был принят в Союз писателей России на заседании Правления в Москве. Мы тогда крепко подружились с председателем этого Союза Валерием Ганичевым. Вместе задумались над тем, как восстановить разорванные связи славянских народов. Мы решили начать с литературного фестиваля. Валерий Николаевич обратился за поддержкой к руководству Харьковского областного совета. Он указал на единство поэтических ритмов и образов русской и украинской наций, на одинаковую философскую глубину и широту охвата исторической жизни двух братских народов, на общие проблемы: отсутствие государственной заботы о писателях, наводнении книжных прилавков произведениями низкого эстетического уровня и др., и предложил собрать писателей и творческую интеллигенцию в Харькове для обсуждения общих трудностей и путей их преодоления. Весной 2006 года меня избрали депутатом Харьковского облсовета, назначили заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам приграничного, межрегионального и международного сотрудничества, и я активно включился в организацию первого

Член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины (2010). В 2000 г. создал первую и единственную в Украине кафедру педагогики и психологии управления социальными системами. Автор 345 научных работ, в том числе двух учебников, 13 монографий, 15 учебных пособий с грифом

совместного мероприятия: украино-российского форума «Пространство литературы - путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами». Помню, те три дня были насыщены встречами российских и украинских писателей в самых разных аудиториях: в Харьковском отделении национального союза писателей Украины, в Доме ученых, в библиотеке им. Короленко, во Дворце студентов национальной юридической академии им. Я.Мудрого...

В резолюции этого форума была строка о необходимости создания в Харькове отделения Союза писателей России. Вскоре состоялось учредительное собрание восьми писателей, на котором меня избрали председателем, а в протокол был направлен в Правление Союза писателей России. В Москве нашу организацию зарегистрировали как первое зарубежное отделение Союза писателей России в Украине.

Как город отнёсся к этому факту? Думаю, положительно. Во-первых, Харьков — город в котором высоко чтут русский язык и литературу. Ведь не зря его неофициально называют «столицей русской культуры в Украине». Во-вторых, для русскоязычных литераторов появилась возможность заявить о себе как о членах творческой организации, действующей параллельно официальному Союзу писателей Украины. В-третьих, мы показали, что наша цель — созидание. В последующие годы Харьковское отделение стало регулярно проводить такие масштабные мероприятия как ежегодные международные конференции «Переяславская рада — ...», «Пространство литературы — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами», праздник духовной музыки и поэзии «Колокольный звон Пасхальный», регулярный выпуск литературно-художественного журнала «Славянин».

Министерства образования. Проректор НТУ «ХПИ» по учебно-педагогической работе. Лауреат Государственной премии в области архитектуры за участие в проектировании и строительстве уникального спортивного комплекса ХПИ (1999). Лауреат международного конкурса «Мир книги 2003» в номинации «Бриллиантовая строфа».

Все наши конференции проходят при содействии Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьковского областного совета, Харьковской областной государственной администрации, Института Восточнославянской цивилизации, Всемирного Русского Народного Собора, Союза писателей России и Харьковского отделения Союза писателей России.

Да, действительно, один только перечень выглядит внушительно. Если же вникнуть в то, каких усилий в наше время стоит провести эти мероприятия... Например, международные конференции...

— В декабре 2012 года на базе НТУ «ХПИ» прошла VI Международная научно-практическая конференция «Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации» и VII Международная научно-практическая конференция «Пространство литературы, искусства и образования — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами». Цели проводимого Форума, говоря «высоким штилем», исследование проблем гармонизации межнациональных отношений на постсоветском пространстве, политико-правовых особенностей их развития, анализ актуальных проблем истории восточнославянских народов, их духовно-культурных ценностей, обсуждение актуальных путей экономического сотрудничества и развития системы образования, исследование роли литературы, искусства и образования в укреплении дружбы и сотрудничества наших народов.

Наш университет является лидером не только среди технических ВУЗов, но и в гуманизации технического образования в Украине. На протяжении десяти лет мы занимаемся подготовкой гуманитарно-технической

Лауреат Межгосударственной литературной премии «Слобожанщина» (2006).
Лауреат Международной премии им. Эдуарда Володина «Имперская культура» (2010).

Лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилева (2011).
Награжден Золотой медалью Петрошанского университета, Румыния (2003).

элиты, и проведение таких конференций нам просто необходимо. В конференциях принимают участие поэты и прозаики, публицисты, философы, филологи, культурологи, педагоги ведущих отечественных и российских вузов из десятков городов Украины и России. На конференции присылают сотни докладов, самые качественные из них мы включаем в ежегодный сборник.

Цель таких ежегодных встреч — обмен информацией между учеными и лучшими представителями современной литературы России и Украины, встречи с местной интеллигенцией, молодёжью и студентами, творческие вечера с поэтами и писателями в школах, библиотеках. Лейтмотив — единство славянских народов. Украина и Россия связаны неразрывно. Мы общались на протяжении тысячелетий, и нам важно продолжать взаимодействовать. Харьков, по мнению многих харьковчан, — связующее звено между Украиной и Россией, место встречи творческой и технической интеллигенции обоих государств.

Организовать такое общение вам помогает, кроме сборников по материалам конференции, и литературно-художественный журнал «Славянин». В то время, как многие «толстые» журналы закрываются, вы — открываетесь...

— Да, с декабря 2009 года печатным органом Харьковского отделения Союза писателей России является журнал «Славянин». Потребность в своем печатном издании мы испытывали с самого начала нашего объединения. Собственно, нынешнее название также родилось в каком-то смысле благодаря Валерию Николаевичу Ганичеву. Его цель — восстановление разрушенных культурных связей славянских народов, не могла оставить меня, да и никого из моих коллег, равнодушными. Так родилось название журнала, за ним

Награжден медалью «Свята Пасха» Украинской православной церкви (Московский патриархат), 2010.

Награжден орденом «Почетный крест» (2003)

Председатель редакционной коллегии литературно-художественного журнала Харьковского отделения союза писателей России «Славянин».

— концепция, оформление и всё остальное. Он выходит шесть раз в год. Мы публикуем лучшую прозу и поэзию братских народов. За это время читатели смогли познакомиться более чем со ста поэтами и прозаиками Украины, России, Белоруссии. В журнале опубликовано несколько сотен прежде незнакомых украинскому читателю современных литературных произведений. Что это как не практическое воплощение в жизнь тезиса о восстановлении культурных связей братских народов?

Вот, к примеру, к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мы выпустили тематический номер. Литературная подборка второго номера «Славянина» рассказывала о переживании войны — тогда и сейчас, об устремлённости к победе и вкладе в её достижение всех — от мала до велика, от маршала до пятилетней девочки. Наша память, наша благодарность не может сокращаться как шагреновая кожа — сколько бы лет не прошло с того далекого 1945-го. Даже когда в живых не останется ни одного участника войны! С годами величие подвига советского народа, сломавшего в отчаянной борьбе хребет фашизму, становится все более значимым, мы никому не позволим говорить о нем уничижительно.

В моем стихотворении «Солдат, вернувшийся с войны» есть такие строки:

«Я знаю, не бывает тишины

В ушах солдат, вернувшихся с войны.

Фронтовики как с нами говорят?

Как будто рядом взорван вдруг снаряд!»

Разве можно оставаться равнодушным к фронтовикам? Разве можно утратить память об их подвиге?

Еще один пример тематической подборки — представление читателю широкого спектра литературной жизни разных регионов славянского пространства. Так, в двенадцатом номере журнала был

Творческие вечера А. Г. Романовского:

Подфак НТУ «ХПИ» - 14 октября 2002 г.,

Дом Ученых - 17 октября 2002 г.,

Дом Алчевских - 17 декабря 2002 г., «Я благодарен Богу за судьбу»,

представлен уральско-сибирский регион. Художественная подборка получила высокую оценку наших постоянных читателей...

Александр Георгиевич, Вы одновременно занимаетесь педагогической, научной, административной деятельностью в таком крупнейшем ВУЗе Украины как Национальный технический университет «ХПИ». Это сотни людей, фамилий, дел, обязательств – всего не перечислишь... Где Вы берете время и силы для творчества?

– В самом творчестве. Для меня поэзия – источник духовной силы. Проникая в её глубинный смысл, начинаешь думать о вечных истинах, о борьбе добра и зла, о силе веры и любви – и сам поневоле заряжаешься творческой энергией.

ХАТОБ - 24 декабря 2003г. «0 Земном и Небесном».

ХАТОБ - 26 января 2006 г. «Нам светит истина в святые вечера...»,

Харьковская филармония - 30 апреля 2006 г., «К тебе, Господи, взываем...»,

«Колокольной звон Пасхальный» - 9 апреля 2007 г., Колонный зал Киевской Национальной филармонии.

Александр РОМАНОВСКИЙ

ГДЕ-ТО В ТИШИНЕ ВЕЧЕРНЕЙ

В ТИШИНЕ ВЕЧЕРНЕЙ

Где-то в тишине вечерней
Забренчал гитарный стон,
В тонких звуках переборных
Серебром подобран он.
Звонкий слог не глушит боли
Незаслуженных обид,
Время только сыплет солью,
Но нисколько не скорбит.
Мелодичностью напева
Расслабляется душа,
Нет, не жизнь, но эта песня
Несказанно хороша...

ПРИЗНАНИЕ

Не заденьте, друзья, мою струнную душу,
Не старайтесь её растревожить смычком,
Вы рискуете вдруг околдованно слушать
Все, что в сердце взрывается сильным толчком.
Не стремитесь, друзья, позабыть мои песни,
Заглушить их томительно-радостный стон,
В них слова — порождение феи прелестной,
Ну, а музыка — Ангелом выбранный тон.
Разрешаю, друзья, прикоснуться к страданию,
Не забыв мне любовь навсегда передать,
И услышите смех, победивший рыданье,
И увидите счастье в умении ждать!
Неумная звучная нотная гамма
Пробежится волшебною дрожью до пят,
В уваженьи Всевышнего строго-упрямо
Я мелодией жизни навечно распят!

ЛЮБОВЬ

Любовь всегда сильнее смерти,
Она нам чудо-жизнь дарит,
Она над грешной круговертью
В нас нашим ангелом парит!

Как эти крылья невесомы,
Они виднеются едва,
Любви ошибки незнакомы,
Она всегда во всем права!

Любовь приходит ниоткуда
И не уходит в никуда.
Она — невиданное чудо!
Она — веселая беда!

Любовь в нас силою нейметя,
Любовь нас слабостью клянёт.
Она ветрами не сметётся,
Ее стихия не согнет!

Её цветы не отцветают,
Их увяданью — не бывать.
Любовь лишь с нами вместе тает,
Её от нас не оторвать!

* * *

Есть звучанье еще неслышанных звуков,
Есть веселье еще непрожитых дней,
Есть томленье сердец неосознанной мукой,
В этом прелести жизни всегда нам видней!
К счастью нашему, мысли всегда бесконечны,
А порывистость чувств безысходна всегда,
В продвиженьи по жизни всегда мы беспечны,
Но остаться в бездействии нам — никогда!

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ВОКЗАЛ

Бьются мысли, льются звуки
Сильной ритмикой души,
В категорию разлуки
Отправляться не спеши.
Нам билет еще не продан,
Срок отъезда вновь смещен,
На перрон вагон не подан,
Пункт прибытия не решен.
Нам прощаться с жизнью рано,
Наш еще не вышел срок,
Под прикрытием обмана
Черт с нас может взять оброк.
Тот оброк — болезнь иль горе,
Неудачи полосу —
Мы сольем ручьями в море,
Похороним их в лесу.
А потом на перекрестке
Мы оставим знак беды.
Выйдем снова на подмостки
Завоеванной судьбы!

ЖИЗНЬ – БЕСКОНЕЧНОСТЬ!

Наша жизнь проходит лишь однажды
Вереницей бесконечных дней,
Дорог день нам, безусловно, каждый,
Но последний всех дороже и видней!

Невозможность нашего возврата
На исходные позиции судьбы,
Сберегает от душевного разврата
И зовет к ведению борьбы.

Ежедневное сражение с собою
В плотном окружении проблем,
С жизни белоснежной кутерьмою
Из снежинок — самых разных тем!

Ах, как хочется, чтоб эта вереница,
Заигравшись так же, как и мы,
Бесконечностью смогла продлиться,
Сохранив нам души и умы!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!

Да здравствует жизнь во всех проявлениях!
Да будет свет и не будет тьмы!
И будем жить во всех измерениях!
Не только в прошлом, но и в будущем — Мы!

Не бойтесь вовсе хохочущей смерти!
Она не сможет нас обмануть,
В свою бесконечную вечность поверьте!
Рождение наше уже не вернуть!

Не трогайте ум, вы поверьте душою,
Но если надо, он скажет о том,
Что близость конца станет темой смешною,
Безмерность Вселенной — это наш дом!

Дом, где живем мы всегда и вечно, —
Тело, душа и наши дела!
И здесь ничто не бывает, конечно,
Нас Тайна Мира в себя вобрала!

* * *

Мы встали вдруг на краешке Земли —
Вселенской необъятной бездны,
Собрав у жизни средоточие любви
С надеждою на будущее бедной!

Нам не хотелось расставаться с красотой,
Любимыми, друзьями и родными
И суета уже не стала суетой
И сами стали вдруг совсем иными!

Так захотелось нам и жить и жить и жить!
Закаты провожать, встречать рассветы
Чтоб Богу не жалеть и не тужить
По всем своим рабам с планеты этой!

И век продлен... подарено еще
Течение времени в безмерном скоротечьи
Да, человек, опять прощен, прощен, прощен
Дай Бог, ему задуматься о вечном!

ПРОВИДЕНИЕ

Снова струйкой серебряной льется
По словечку — моя строка.
И пульсирует, словно бьется
Мое сердце в ее бока.

И мерцает, как будто тайна,
Неприкаянность ней живет.
Ты явилась ко мне случайно?
Или, может, наоборот?

А еще вон твои сестрицы...
Как просты они, как строги!
Сочиненье, сияя, длится:
За строкой — еще две строки...

Стихотворно мое творенье
Господи! Узнаешь ли меня?
Миру Божие Провиденье
Посылает частичку огня!

* * *

И рифма бьётся, словно птица,
Из слов вылавливая смысл,
И снова стих в тиши рождается,
Где чувством заменяю мысль.

Мне это, вроде бы, не нужно,
Зачем мне плен бегущих строк?
Но наплывают звуки дружно,
В неизмеримо краткий срок.

Зачем стихи, ведь это — поза?
Без них легко, и нет хлопот.
Но видно, сердцу надоела проза,
Избитых слов чужой водоворот!

РОЖДЕНИЕ ПОЭЗИИ

Стихи рождаются в забвении,
Когда у мысли на виду
Вдруг умолкает чувства пенье
И души носятся в бреду!

Стихи рождаются в сомнении,
В них кровью с потом изойду.
Злой рок мешает липкой тенью,
К нему с поклоном не приду!

Стихи рождаются в стремлении
Сопережить чужую боль,
Возвысить духа заземленье,
Прославить жизни брэнной соль!

Стихи рождаются не в доме,
Истошно будущим крича,
Они рождаются в истоме,
В заветном поиске ключа!

Врачи любви их тихо пишут,
Разрезав слогом злобу дня,
Чтоб люди душу могли слышать
В горении вечного огня!

РАЗГОВОР С ДРУГОМ О ПОЭЗИИ

Знаешь, мой друг, поэзия — это не просто начитанность,
Что вдруг всплывая, прячется в буре загадочных снов.

Это — и духа, и слова высоких воспитанность
Для поклонения Господу добрых сердец и умов.
Пишет поэт стихи не от рвения
Из умолчания вдруг потрясенье открыть.
А от ночного души вдохновения,
От устремленья ума ежедневностью быть.
Да и читает стихи свои он без желания
Свой артистический дар объявить,
Он оглашает на сцене святое послание
Божьего сердца, что горькою строчкой кровит!

Знаешь, поэзия — это к тому же ответственность
Перед людьми, что не могут на время уйти,
Это — от бури времен неземная наследственность
Это — умение клады земные найти!
Это — и взрыв, и затишье, греховность и праведность,
Это — ответы на выстрел дрожащей рукой,
Это — и в хаосе старости детская правильность,
И наполнение моря прозрачной рекой!
Это — слияние мысли и чувства построчное
И оживление духа и тела святою водой,
И обращение к Богу молитвой бессрочное,
И освещение мира не яркой, но вечной звездой!

Александр ОЛЬШАНСКИЙ

В ИЮНЕ, ПОСРЕДИ ВОЙНЫ

Санька прожил на свете немногим более четырех лет, почти половину из них в войну, и по своему опыту знает, что спать – самое спасительное занятие, когда хочется есть. Ведь во сне не чувствуется, как долго тянется день, не думается о еде, к тому же присниться может что-нибудь хорошее, вкусное.

Но сейчас ему спать совсем не хочется. Надев просторные трусы, доставшиеся от старшего брата, которые то и дело нужно поддергивать, он слоняется по двору, не зная, чем заняться, чтобы шло поскорее время, и быстрее возвращалась мать.

Дома никого нет. Куда-то подался дид Нестир, приютивший их, ушла бабка. Дверь мазанки на запоре; Санька стучал, но никто не вышел, тогда он направился в шалаш, который соорудил для них дид Нестир, обследовал углы, перерыл вещи в корзине, заглянул в чугунок, в кувшин – нет, мать, уходя, ничего не оставила. Может, потому что вчера их снова выпроводили из Изюма, не дав даже собраться, – немцы опять бомбили город; может, она надеялась скоро обернуться: взять у стоявших здесь, в селе Базы, красноармейцев белье в стирку, а если повезет, то и что-нибудь для Саньки – ломоть хлеба или котелок настоящей военной каши.

Везло редко. В Базах жили десятка два семей из пригорода, так что у здешних красноармейцев всегда всё было выстирано и перестирано. Не сытно, на лебеде и крапиве, жилось местным жителям, и женщины покидали это бесхлебное место, возвращались с детьми в Изюм. Пробирались домой скрытно, низинами, балками, полями, заросшими чертополохом, сторонились людей, обходили села, где их могли увидеть бойцы и потом отправить назад, в Базы. В Изюме жить запрещали: по Донцу, разделявшему город пополам, проходила линия фронта, а их окраина – трудно было понять, где она: то ли у наших на переднем крае, то ли на ничейной земле. Только в родных хатах

казалось не так голодно и, может быть, даже дальше от войны. Но их сразу же обнаруживали и выселяли, а они все равно стремились домой...

В последний раз им удалось побыть там всего два дня. В пути, уже под Изюмом, когда нужно было в балке дожидаться темноты, у матери случился приступ малярии. Наверное, оттого, что ночь и день несла Саньку на руках, сбила в кровь ноги, а когда они добрались до балки, где знали родник, она, разгоряченная, напилась холодной воды, а потом еще и полежала на земле, наслаждаясь покоем. Почувствовав, что в теле накапливается слабость, она выбралась на косогор, на солнце, легла на песок. Началась лихорадка. Лицо у матери покрылось испариной, волосы, совершенно белые, выбились из-под косынки, напоззли ей на глаза. Саньке стало страшно, он схватил ее за дрожащую руку, силясь поднять, и, плача, умолял: «Мамочка, родная, не умирай, встань...» «Сейчас, сейчас, сынок, встану, — шептала она. — Не бойся, потрясет и перестанет. Холодно, песочку мне теплого на ноги... На ноги...»

Домой добрались ночью, а вечером следующего дня на окраине появились красноармейцы. Мать с Санькой спрятались на грядке, в кукурузе. Во двор зашел только один боец, другие направились к соседям. Приставив винтовку к хате, он присел на завалинку, закурил и принялся перематывать обмотки. «Сиди тихо, — наказывала мать. — Скоро совсем стемнеет, а там, говорил слепой, побачим...»

— Ну, мамаша, сколько тебя ждать? — негромко спросил красноармеец, управившись с обмотками. — Выходи из кукурузы, не бойся.

— А я и не боюсь, — сказала мать, поднимаясь.

— В таком случае, зачем прячешься? Знаешь ведь: здесь жить нельзя, нейтральная полоса, а живешь?

— Нельзя... Зимой это «нельзя» есть не станешь.

— А — убьют? Мальчонка сиротой останется, да?

— Выходит, лучше помереть с голоду? У меня, кроме этого, — она нащупала позади себя Санькину голову, — еще двое. Сейчас они где-то скотину пасут. Дай Бог, живы и сыты, а зимой сюда придут. Мыслимо ли выжить без этого, ночами копанного и саженого, триста тысяч раз проклятого огорода? За пятьдесят километров ходим, суем головы в самое пекло... Нет, товарищ боец, никуда я отсюда не уйду. Пусть лучше убивают, моих сил нет...

Красноармеец бросил под ботинок окурок, встал и закинул винтовку за плечо.

— Много осталось полоть-то?

— Товарищ боец, ведь пока в одном месте бурьян порешишь — работа ночная, в сумерках да на рассвете, — глядь, в другом полоть надо!

— Эх, гражданочка.... Жалко, на ночь гляючи, выпроваживать тебя с мальцом. Жалко, понимаешь, а ты — в другом месте полоть надо. Убьют. Как ты этого не разумеешь, дура ты седая, прости на слове! Он как заметит что-нибудь, так и кидает снаряды! Тогда — кому в радость твоя картошка будет? Да пропади она пропадом, малых детей пожалей, а не картошку! Нельзя жить, значит, нельзя, — строго сказал он, помедлил и смягчился: — Так уж и быть, ночуйте, а завтра — уходите. Добром прощу: уходите.

Утром мать несла куда-то спящего Саньку. «Проснись, Санюша», — тормошила она его, и Санька ощущал на своем лице ее частое, сбившееся дыхание. Он закапризничал, ему хотелось еще спать, но глаза открыл и увидел над собой щелистую крышку погреба. «Проснулся? — обрадовалась мать. — Молодец, что проснулся, Не спи, сыночек... Сейчас спать нельзя, А ты, Господи, праведный и милосердный, защити...»

Наверху медленно нарастал гул. Задрожала земля, в щели посыпался песок. Самолеты завывли, в страшном том вое родился рвущий душу свист, и Санька заорал во всю мочь, прижался к матери, а потом спрыгнул с коленей, заметался между кадушками в тесной яме погреба, — самым жутким было в этот миг сидеть на одном месте и ждать. Мать схватила, закрыла ему уши, а он продолжал кричать, чувствуя телом, как резко и часто, толчками вскидывается земля.

Когда все стихло, в погребе стало темнее. В щели густо и беззвучно сыпался песок, смешанный с горьковатым, сизым дымом.

Где-то кричали.

Они выбрались из погреба, их хата осталась целой, но в дыму плавала вся окраина. На соседней улице горели хаты. Низко, чуть выше Санькиной головы, стлалась по земле пелена едкого дыма...

Возле горящих хат снова закричали.

— Ой, там кого-то убило! — вскрикнула мать и, подхватив Саньку на руки, побежала туда.

— О, Господи, о, Господи... — приговаривала она, и Санька приготовился к чему-то особенно страшному.

Языки сухого пламени, бледные в это ясное, солнечное утро, с гулом и хрустом дожирали остатки хаты, поднимая в небо клубы копоти и пепла. Возле хаты стояло дерево, на

котором раньше росли райские яблочки, а теперь оно было голое и черное, и обугленные кончики веток светились красными огоньками, когда пламя, временами усиливаясь, достигало их.

Несколько женщин, не обращая внимания на пожар, на угрозу артобстрела со стороны немцев, столпилось за двором. Перед ними на мягкой, зеленой муравке лежала Светка, подружка Санькиной сестры. Голова ее покоилась на подушке, вышитым рушником была накрыта грудь. Хватаясь за волосы и причитая, рвалась из рук женщин к ней ее мать.

Светка лежала спокойно. Глаза у нее были закрыты, и только едва заметно шевелились белокурые колечки на лбу от повевавшего горячего ветра. Она оставалась спокойной и тогда, когда возле огня закружился юркий вихрь, пронесся мимо, сбив полотенце и обсыпав всех песком и пеплом. Какая-то тетка поправила полотенце, в это время Светкина мать вырвалась и упала на грудь дочери, заголосила еще сильнее. «Пусть поплачет, легче станет», — сказала тетка.

Саньке всегда нравился огонь, большие костры и бушующее пламя, но хату было жалко, как и райские яблочки, которыми Светка в прошлом году угощала его. Было жалко и Светку, которая умерла, и ее теперь, как всех мертвых, это он знал, должны закопать в землю. Было жалко и ее мать. Но здесь не было страшнее, чем в бомбежку, — к ним он привыкнуть не мог. Он видел мертвых и раньше: убитых солдат, какую-то бабку в Базах, которая недавно, как говорили все, отмучилась. И всегда его удивляло одно и то же — все они становились загадочно безразличными ко всему. Так случилось и в этот раз — Светка лежала спокойно, а женщины, особенно ее мать, плакали; можно было подумать, что теперь ей нисколько не хуже, чем им...

А матери все нет.

Санька сидит под тыном и смотрит в щели меж хворостин на притихшее в жару село, на мазанки, выглядывающие хитроватыми оконцами из вишневых садов, на высокие тополя, расставленные вдоль единственной улицы до самого Оскола. Хата дида Нестира почти крайняя, стоит на склоне песчаного бугра. Отсюда хорошо видны пустынный колхозный двор, танцующий в мареве лесок за ним, у реки. В лесу, когда они последний раз уходили в Изюм, стояли красноармейцы, и мать, наверно, должна идти оттуда.

Он подкатывает к плетню дырявый бабкин чугунок, ставит вверх дном и взбирается на него. Так видно еще лучше, только все равно матери на дороге нет. И Саньке вдруг приходит счастливая мысль: пойти на бугор и поесть

козельцов.

Через заросли краснотала, ограждающие дидов двор от песка, он поднимается на вершину бугра и там, среди кустиков чабреца и былинки пырея ищет козельцы — прижавшееся к земле растение с невысоким стеблем, налитым млечным соком, а главное — со сладким волокнистым корнем. Добывать их научил старший брат, и теперь Санька, как ему и показывали, роет вокруг корня ямку, берется руками за него как можно ниже, тянет, надувшись. Корень длинный, ни за что не вытащишь целиком — обязательно оборвется.

В пищу идет только корень, стебель пригоден для другого — клейким молочком можно рисовать на руках, ногах, животе разные фигурки, а если их еще присыпать землей, то они держатся на теле до тех пор, пока мать не смоет теплой водой. Но Саньке сейчас не до рисования, он не очень тщательно очищает корни от песка и с хрустом жует их.

Неожиданно в краснотале одна из двух бабкиных куриц поднимает кудахтанье. Наверно, куры купались в песке под кустами, а к ним подкрался хорек? Санька никогда не видел этого таинственного зверька, но бабка настойчиво жаловалась всем, что где-то поблизости живет хорек — большой любитель курятины, и, не дай Бог, он задавит последних в Базах куриц, которые кормят больного диды Нестира.

Схватив увесистый кусок кремня, Санька бежит в кусты. «Ках! Ко-ко-ко-ках!» — кричит белая курица, важно расхаживая вокруг ямки в песке, и он, не веря своим глазам, видит яйцо.

Он бережно берет его, белое и еще теплое, несет во двор. Яйца удивительно вкусная штука. Подарила бабка как-то ему одно, мать заправила им суп из лебеды, так получилось, считай, чуть ли ни кастрюля яичницы. Бабка говорит, что от яиц может живот заболеть, и варит их диду, потому что он ничего другого почти не ест. Только Саньку не так-то просто провести: живот болит, если переест козельцов, от волчьих (он называет их молчыми) или других, незнакомых ягод, но от яиц он никогда не болит...

Наконец-то возвращается дид Нестир. Опираясь на палку, он тащит вязанку хвороста, бросает ее за хатой и садится отдыхать на крыльце.

— А у меня что-то есть, есть, есть... — прыгает перед ним Санька.

Дид вытирает рукавом рубахи пот на черном, землистом лице и спрашивает:

— Та шо ж воно такэ е, Лександро Батькович?

— Яйцо! — выкрикивает Санька и мчится в шалаш.

Дид держит в клешнистой руке яйцо, усмехается:

— И, правда, яйцэ. Так тоди, Лександро Батькович, и жизнь получшала, и табачок подэшэвшав...

— Я в кустах нашел, — хвастается Санька.

— Молодэць. Полож його на землю, шоб нэ розбыть, а мамка прыйдэ и зварэ. Сидай рядом, будэм ждаты...

Санька прислоняется к нему и смотрит на дорогу. Сдидом он в большой дружбе. Дид всегда на его стороне. Вспомнится Саньке, что на бабкиных грядках растет редиска или морковь, и начинает он капризничать или, как говорит мать, разводить квас. Она берется за хворостину, но он не сдается: ждет, пока дид пошлет бабку на огород. И дид многое умеет: вырезать из лозины свистульку, волшебную палочку с затейливым узором, смастерить пропеллер, который сам крутится — только беги.

По дороге проходить отряд красноармейцев, скачет всадник, догоняя их. Дид поглаживает Санькину голову, и тот начинает дремать под тяжелой и теплой рукой.

Просьпается Санька уже в шалаше — то ли от сильного хлебного духа, который накопился в жаркий день в соломе, то ли оттого, что ему почудился голос матери. Нет, ему не послышалось: мать, в самом деле, беседует о чем-то с дидом. А яйцо? Где оно? Ему становится жутко от мысли, что оно могло куда-нибудь деться, что его вообще не существовало. Приснилось, а наяву — не было никакого яйца.

Он облегченно вздыхает, когда видит, что оно здесь, белеет в углу шалаша. С величайшей осторожностью он берет его двумя руками, потому что было бы непоправимым горем лишиться счастливой находки сейчас, когда ждать осталось совсем немного, и несет матери, чувствуя, как трусы предательски сползают все ниже и ниже. Не поднимая их, он ждет, что мать сейчас похвалит, бросится разводить огонь. Но она почему-то боится взглянуть ему в глаза, смотрит только на яйцо и затем, поджимая обсыпанные малярными болячками губы, говорит тихо:

— Это чужое яйцо, сынок. А брать чужое — нельзя.

— Та звары йому, Егоровна, будь ласка. Раз дыгына хочэ...

— Нестир Иванович, вы тоже как маленький. Мы и так сидим на вашей шее. То редисочки, то морковки, то лучку...

— Это мое яйцо, я нашел его! — кричит Санька, заливаясь слезами от несправедливости, но мать забирает находку и относит в хату.

— Побойся Бога, Егоровна, — упрекает дид Нестир, когда

она возвращается. — Нэ гордысь. Я ж бачу, ты прыйшла сьогодни з пугымы рукамі. Военні пішлы на пэрэдову, нікому тобі стіраты. А воно ж цілыі дэнь тэбэ ждало з цым яйцэм...

— Нестір Івановіч, перестаньце, прошу вас, — гаворыць маты і праходзіць міма Санькі к шалашу.

— Ты плохая! Ты плохая! Я не люблю цябя! — крычыць Санька в след.

— Ну і не любі...

Санька потрысясён. Рыдаючы, ён са злосьцю процірае глянца, а яны зноў заліваюцца слязямі і, чуючы, што маты трэба адказаць такой жа жасцікасцю, гразіць ёй:

— Я умру! Умру, як Светка!

— Умірай, — даносіцца з шалаша.

І Санька вназапна перастае плакаць. А што, калі, у самым дэле, умерець? Ён будзе ляжаць спакойна, усё ёму будзе трын-трава, а маты — плакаць... Так ёй і трэба. Но зато ёму больша нічога не будзе трэба. Пусты зарываюць яго ў зямлю, пусты. Ёму нікогды, нікогды не захочацца есці, не стануць больша дожідатца маты, пусты яна бродзіць, дзе ёй вядуцца і сколькі вядуцца. Не пойдзе ён нікогды ў Ізюм, не стануць там прытачыцца ад самалётаў, баяцца бомбёжак — ёму усё стануць безразлічным...

Ён умрэць.

Но, прадставіў, як маты пачынае прычытаць і рваць на себэ седыя валасы, ён оцчуцае, як што-то болю застывае ў яго ў грудзі. Ёму жалка маты, і ён заглядывае ў шалаш, озабочанна смотрыць на яе, втайне надзеючы, што зноў наступіць мір і сагласіе, прадупрэждае:

— Я іду ўміраць.

— Я же сказала: іды.

Ёй безразлічна, умрэць ён ці не!

І Санька ідзе ўміраць. Забіраецца ў краснотал, ляжыцца на спіну, выцягвае ногі, складывае на грудзі рукі і закрывае глянца. Ён надзеяўся умерець татчас же, як толькі уляжэцца такім абразом, но пачему-то не ўміралось.

Непадалеку закокоталі куры, грэбунця. Разве дзесьці можна умерець? Трэба ідці на дарогу — наедзець кака-нібудзь машына, і тады ўж навярняка умрэць. Ён выходзіць на дарогу, ляжыцца на мяккую і гарачую пыль. Машынаў няма. Калі без надобнасці, зліцца Санька, так яны шастаюць, а трэба — не дождзецца. У сале завывае кака-то, ідзе. Можаць, сюды? І стыхае...

— Лександра Батковіч, — даносіцца са двора глуховатый голас дыда Нестыра. — Нэ вмірай. Раз маты нэ хочэ, я сам

зварю яйцэ...

Не нужно оно теперь ему, можно и без него обойтись. Только хочется Саньке, чтобы мать сейчас вышла и забрала его. Ведь он умрет на всю жизнь, как она этого не понимает? Не идет. Значит, правильно он делает, никому не нужен...

За околицей урчат грузовики. Санька знает, что они обязательно поедут этой дорогой. Вот они уже близко, совсем рядом — с какой бы радостью он убежал во двор, пусть мать не выходит, пусть только позовет! Может, все-таки догадается? Ну, как она не понимает, что он должен оставаться на месте: ведь если решил умереть, надо дело довести до конца...

Передний грузовик, обдав Саньку пылью и бензиновой гарью, останавливается. Слышны мужские голоса. Кто-то спрыгивает на землю, подходит к Саньке, трогает за лицо. Он вздрагивает и еще крепче сжимает веки.

— Он жив, товарищ майор, притворяется!

— Мальчик, открой глаза...

У Саньки нет уже терпения лежать с закрытыми глазами, он потихоньку приоткрывает веки. Вокруг стоят бойцы, командир склонился над ним и улыбается. Он уставший и небритый, с одной бровью, а там, где должна быть другая, розовеет пятно кожи, не спешее загореть.

— Ты почему здесь лежишь? — спрашивает командир.

— Хочу умереть.

— Во сколопендра! Он хочет умереть! — смеется удивленно боец, который называл командира майором.

— Я хочу есть... — с обидой возражает ему Санька и больше ничего не может сказать.

... Мать стоит у печи, когда Санька с майором входят в хату.

— Мамаша, ваш мальчик?

— Наш.

Майор, не опуская Саньку на пол, садится на скамью у порога, снимает фуражку.

— Нехорошо получается, мамаша. Мальчик лежит на дороге, а вы за ним не смотрите. Хочу умереть, говорит.

— Он у нас выдумщик, — оправдывается и в то же время хвалится мать. — Ему что-нибудь выдумать — все равно что с горы покатиться.

— Не детская эта игра...

Майор остается на постое у диды Нестира. Санька, очарованный присутствием настоящего командира, к которому бойцы приходят за приказаниями, ни на шаг не отходит от него: смотрит, не мигая, как майор бреется,

поливает ему, когда тот умывается, и помогает даже чистить пистолет. Потом боец, который смеялся над ним, приносит в котелках суп и кашу, полбуханки хлеба и красивую блестящую банку. Санька замер у стола, смотрит, как боец разливает в бабкины миски пахучий суп, и тихонько, совсем по щенячьи повизгивает от того, что у него в этот момент болью заходится живот. Майор вручает ему ложку, садится напротив за свою миску, и Санька, веря и не веря, что ему не снится, начинает есть.

— Я ж тобі казав, Лександро Батькович, шо жизнь получшала и табачок подэшэвшав, — подает с печи голос дид Нестир.

— Ешь, Санька, не стесняйся, — подмигивает майор безбровым глазом, а Санька, уплетая гороховый суп, не сводит взгляда с блестящей банки, которую открывает боец.

— Там сгущенное молоко, — говорит майор. — Будем чай с ним пить. Не пробовал?

Санька молча мотает головой и поглядывает на мать, которая стоит у печи, смотрит на него, покусывая губы.

— Вот кончим войну и такую вам, карапузам, жизнь построим... — майор вдруг умолкает, переводит дух, — одним словом, хорошую, чтобы жить да радоваться. Для начала отгоним немцев от самого сладкого города Изюма. А потом и войну кончим, вот увидишь... Так что живи, Санька, впереди такая жизнь...

Несколько дней майор и его бойцы, истосковавшись на войне по детскому смеху, сдержанно, по-мужски баловали его, кормили своей кашей, дарили кусочки сахара, катали на «студебекере», подбрасывали и подбрасывали вверх — и замирало Санькино сердце от высоты и восторга. В нем, наверное, им виделись свои дети, все дети, ради которых они готовы были на всё...

А потом, ночью, когда Санька спал, они ушли из села. Санька плакал, искал их по хатам, но не находил — они вернулись на передовую. Вскоре, вслед за ними, покинул навсегда Базы и Санька — уходил с матерью домой, в свой Изюм.

Ольга ЦВИРКУН

ПОЯС БОГОРОДИЦЫ

ПО МОТИВАМ РАССКАЗА ПОЧЕМУ БОГОРОДИЦА ПОЯС ПРЯДЕТ

Свершилось светлое Христово Воскресенье,
И праведников толпам путь открыт
В предивный мир, в те райские селенья,
Неугасимая лампада где горит.

И песнопений слышно ликование,
И торжество веселья до Небес,
Где места нет ни мукам, ни стенаньям,
Лишь вечный глас любви: ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Увы, не все достигли совершенства,
Чтоб райскую обитель созерцать,
Лишенные предвечно блаженства
Дерзнули к Богу духом вопиять.

Услышав горький плач людей повинных,
Вдруг стала Богородица просить:
«Смогу ли Я, Божественный Мой Сыне,
Отверженных под поясом укрыть?»

И вот Спаситель внял Ее моленью,
Заступницы всех грешников земли,
Освободив их от тенет забвенья,
И Ангелы их в Рай всех повели.

Но только грешников земля не убавляет.
И Богородица по-прежнему скорбит.
В молениях труды свои свершает.
И поясом Ее наш мир покрыт.

Осенним днем безветренным и тихим,
Когда ни ос ни пчел не увидеть,
Блаженный странник может вдруг услышать,
Как что-то тронулось и начало жужжать.

То Дева Чистая прядет для мироздания
Свой пояс дивный и, взирает свысока.
И к обездоленным и страждущим созданным
Всегда простерта Материнская рука.

И Богородицы станок не умолкает,
И днем и ночью Она пряжу свою ткёт,
Чтобы пополнились обители для Рая,
Свечью яркой осеняя небосвод.

И пояс тот узорчатый и славный
Цветами райскими, как бусами, расшит.
Златыми нитками переливаясь плавно,
Он над планетою невидимо горит.

И Материнскими пречистыми руками
Над падшим миром простирает Омофор,
Умилосердившись над грешников слезами,
И сострадания уж полон Ее взор.

И Ангелы Ей тайно помогают
Розаны и кувшинки приносить,
Цветов нектар небесный собирая,
Чтобы ткалась божественная нить.

Она все ткёт в страдании великом
То в светлой горнице, то в райской тишине,
Склонившись к нам Своим пречистым ликом,
Взывая к тем, кто на греховном дне.

Она все трудиться и рук не покладает,
И всех цветов ее не перечесть.
А на полях земных ей дети помогают,
чтоб Ангел нам принес благую весть.

Есть там и лилии, что свечи восковые,
и незабудки, точно детские глаза,
вплывает Дева в пояс и отныне
Их покрывает слез небесная роса.

И не страшны ей горы вековые,
ни доли низкие, ни темные леса
под тяжестью грехов Ей все родные
и ради нас творит все чудеса.

Пречистыми слезами орошая,
Нектаром райского блаженства родников,
И души наши к Богу воскрешает,
Простерши свой таинственный покров.

До Страшного суда еще трудиться
И Сына умолять в последний раз,
Чтобы смогли все грешники покрыться
Под поясом божественных прикрас.

Дай Бог нам в покаянии склониться
Пред Господом на долгие года,
Чтоб Мать Его смогла остановиться,
Вздыхнуть от сего тяжкого труда.

Ведь пояса того нам всем не хватит.
Пречистой Девы воздыханиям вондем,
Чтобы Она свою святую скатерть
Смогла закончить этим ясным днем.

Порадуем Ее своим смиреньем,
Молитвами, делами и тогда
В конце веков — Всемиром Воскресеньи —
Нам вечность распахнетя навсегда.

СНЯТСЯ МНЕ ГОРЫ НОЧНЫЕ

Снятся мне горы ночные,
Вершины зовущие вдаль,
Где небеса золотые
Скрасят любую печаль.

Там кружева отражений
Сосны стремяться обнять,
Неуловимых скольжений
Озера чистую гладь.

Словно художника краски,
Горы там — чудо — земля.

И сквозь анютины глазки,
Все наблюдают поля.

Тучки — что неба посланцы,
Веют над лесом ночным,
Горы укутав багрянцем
Как кружевом расписным.

Из-под вершин стройных елей
Бодро блестит огонек
Ласточки тихо взлетели
В ясной лазури поток.

С яркою светлой зарею
Вновь просыпается лес
Робко колышет листвою,
Будто в предверьи чудес.

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ

Ты багряный венок
из букета цветов
Положила и тихо ушла.
Только видится даль —
Неба звездный чертог.
Эта встреча недолгой была.

Отшумела листва
Над забытым мостом.
Шумно птицы все ринулись ввысь.
Только снег серебрится
Пред чистым окном.
Светлый ангел мне молвит
— Молись.

Трав душистых сияют просторы.
Там из нежных цветов сплетено
Златотканым и хрупким узором
Разноцветья лугов полотно....

Ароматы вдыхает там ветер
И разносит по свежим садам.
Солнца луч неземным благолепьем
Рассыпает тепло по стогам.

Ветер кротко колышет макушки
Стройных крон. И в ответ небесам —
Радуг свет осеняет опушки
Где виднеется издали храм.

И каймою прозрачной и чистой
Засеребрится трав пелена.
Переливом озер серебристых
Отразится небес глубина.

ПАСХА НА МЕТЕОРАХ

Вы Греции далекие просторы,
Вас разумом своим нам не объять.
О Божьи скалы — Диво Метеоры,
Вершин златых таинственная рать.

Родством небес вы скалы увенчали,
Взметнувшись в заповеданную высь.
Творца Величье в камнях завещали...
Душа моя, ты верою зажгись!

Здесь облаками ткут небесные стихии,
Зарею алой и голубизной морей.
Здесь тишина, блаженство исихии...
И для монаха нет ее родней...

Пасхальный звон по скалам раздается,
И до звезды дотронуться легко.
Канон торжественный на клиросе поется.
Глаголов вечности молитвенный исток.

И ангелы вам подпевают вместе
В высокой пристани возвышенных речей.
Христос Анести — Алистос Анести
Звучало под сияние свечей....

САМАЯ БЛАГОДАТНАЯ ПАСХА

*По рассказу из книги
Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий*

Тюремный лагерь, год пятьдесят пятый.
Безбожная и лютая пора.
С икон взирает Иисус распятый
В укромной комнатке унылого двора.

И лик Его в печали растворился
И обращая к узникам уста,
Над бедами людскими Он склонился,
Над Русью горестной под тяжестью креста.

И чадам страждущим, познавшим боль гоненья,
Но восхвалявшим Господа за крест
Воздал Спаситель дивным утешеньем —
Раздался Пасхи Светлой благовест.

Престол поставлен был и все преобразилось,
Величие Творца боготворя,
Земля как будто с небом породнилась
От благодатного священного огня.

Священство в ризах белых предстояло.
Горело пламя верующей души.
И небо так таинственно сияло
И звезды слали дальние лучи.

Святою ночью клирос пел
— Волной морскойю...
Так озарился светом весь Байкал
И окатил торжественно волною
Всех, кто с молитвой к Богу предстоял.

И Воскресение Твое, о Христе Спасе,
Гласилось снова над соцветьями лугов,
И света луч, их перлами украсив,
Простер над водами таинственный покров.

Гоненья крест и горечь испытаний
Ко Господу приблизить возмogli.
Исчезли слезы немощных стенаний,
В душе цветы надежды расцвели.

И небо убелило все печали,
Сломав тюремный горестный засов
Лампадою пасхальной звезды стали
Кадилом — ароматы всех лугов.

И Пасха та в небесные объятья
всех богомольцев в полночь собрала,
Всех озаряя горней благодатью
И самой благодатной прослыла.

Так разливался звонко над Байкалом
Весны святой воскресный благовест.
И вся природа мигом оживала
От дивных слов ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Эдуард БРАТУТА

ВНИМАЯ БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ

Прости, Господь, лихую дерзость —
Коснувшись Храмовых вершин,
Озвучить рифмой многомерность
Тобой дарованных Святынь

Непостижимостью Вселенной
Дух человеческий томим,
И жаждет разум в Жизни брэнной
Внять повелениям твоим,

Дабы успеть при жизни этой
Предназначенье оправдать
Своей Судьбы пред тем, как Лета
Сомкнет таинственную гладь.

Внимая Божьей Благодати,
Творю молитву при Свече,
Со мной Христос и Божья Матерь,
И в Храме праздник, и в душе.

Никто не несет нам удачу на блюде,
Ничто не приходит в желаемой мере.
Напрасно не сетуйте, добрые люди,
Воздастся нам, грешным, в итоге — по вере.

И если не здесь, в этой брэнности буден,
То, может быть, там — запоздало, но будет.

* * *

Заглядывая в кладези бездонные,
Нашел я верные слова:
Все души, Верой породненные,
Роднее кровного родства!

* * *

Генный код — это нотный стан.
В нем и Плоть, и Душа, и Разум,
В нем Судьбы мелодийный План,
Три октавы связавший разом.

* * *

У всех неправедных деяний
Необратимая стезя:
Раскаяньем и Сожаленьем
Исправить прошлое нельзя!

* * *

Возраст — не только
Старение плоти,
С жизнью теряющей
Радость общения.
Это не только
Усталость в работе,
Это еще и души утомление.

* * *

И в громе одобрения раскатном,
И в огорчениях, стоящих гроши,
Мы мир воспринимаем адекватно
Масштабу собственной души.

Пусть все, что впредь судьба пошлет,
Масштаб души не превзойдет!

* * *

Опасны в жизни перемены:
Душа и Тело — не гранит,
Но, коль нательный крест надену,
Я знаю — Бог меня хранит.

* * *

Воспринимая все как Божие дары
И, научившись малым наслаждаться,
До той мы молоды поры,
Пока не перестанем удивляться.

* * *

И в громовой тиши душевного движенья,
И в слепоте хмельного озаренья,
В безделии перед свершеньем дела,
В холодной теплоте нелюбящего тела,
И в искренности ложного признанья,
И в мести за былые покаянья,
И в лицемерии развратности пристойной,
Во тьме тоски веселости застольной,
И в нынешнем, что сбудется потом —
Незримо Зримое присутствует во всем.

Борис ФРОЕНЧЕНКО

«ЗИМА — ЭТО ВОИН, В БРОНЮ ОДЕТЫЙ...»

Зима не бежит, как весна иль лето.
Метельно, по-волчьи, протяжно воет...
Зима - это воин, в броню одетый!
Зима никогда не уйдет без боя!

Ни намека на снега и стужи...
Где вы, первых зимних дней пороши?
И декабрь полощет шубу в лужах,
Натянув на валенки галоши...

За окном опять дожди и слякоть,
Мокрый ветер еле свищет соло...
Не устала осень, видно, плакать,
Утирая слёзы ветвью голой...

Как лениво ветер тучи гонит,
День промозглой сыростью отмечен...
Может, и январь в дождях утонет?
Может, плед дождей осенних вечен?

Отстучали злых дождей горошины
И снегов развязана сума...
Снежной белоснежностью — порошею
Носик свой припудрила Зима...

На снегу рябина переспелая —
Капли крови осени горят...
И нагих деревьев руки белые
Сквозь снежинки призрачно парят...

Чуть луна скорлупку тут проклюнула,
Хороводом звездочек маня...
На снега Зима морозцем дунула:
«Вот и я! Приветствуйте меня!»

Тихо падает снег, облака без просвета,
Скрип шагов за окном и мерцание ели...
Где-то там, вдалеке, копят силы метели,
А морозная ночь ожиданьем согрета...

Ожиданьем чего? Ветра теплого вздохи
Вновь коснуться в ветвях зеленеющих слезок,
Окунуться в капель с плеч весенних березок,
Слыша вешнюю трель нежной серенькой крохи...

Ожиданием трав и лазурного света...
Яркой россыпи звезд и пьянящей сирени...
Ветви наземь бросают застывшие тени —
Новогодняя ночь в ожидании лета...

Разыгралась пурга... вьюжится,
Метит в окна снегов стрелами
И, сметая с ветвей кружево
Ветер крыльями бьет белыми...

Заметают снега улицы,
Вьюга с воем летит городом
И прохожий к домам тулится,
Укрывая лицо воротом...

Вьется чей-то следок путаный,
Намечая тропу прежнюю,
А фонарь, как маяк путнику,
Чуть мигает сквозь тень снежную...

А пурга все пылит... вьюжится...
День зимы невелик... короток...
Ночь снегами укрыть тужится
Все, что раньше звалось городом...

Снег до краешка город заполнил,
Низко стелется ночи дурман,
И мороза приливные волны
Хлещут пеной утесы-дома...

Звезды туч замалеваны кистью,
Громоздятся сугробов валы...
Ветер белыми ключьями чистит,
Полируя до блеска стволы...

На дорогах шлифованной сталью
След машинный острее ножа...
И подъезды, прищурясь устало,
Тусклой лампочкой зябко дрожат...

Холодами весь мир заморожен,
От тепла лишь у лета ключи...
Даже снег до костей проморожен —
Не скрипит — тихо стонет в ночи...

Вихри ночь, словно камешки мечет,
Злой колдуньей хохочет пурга...
Город стенами кутает плечи,
От зимы зарываясь в снега.

Неспешен года шаг — бредет без всяких карт,
Бросая на снега густые тени...
Пока еще зима... Но завтра будет март
И Календарь отметит день весенний!

Пока еще зима. А завтра — шаг в весну!
И в птичьих трелях новый плеск рапсодий!
И солнце в талый лед метнет лучей блесну,
Чтоб льдинки закружились в хороводе...

Пока еще зимой на тропы лед пролит
И посохом сугроб морозы мерит...
Но в почке, как в ларце весна побег таит,
А завтра будет март! Весне откройте двери!!!

Зима, как зверь-подранок в шкуре белой...
В снегу просевших мокрых лап печать...
Еще он может прыгнуть... Зарычать...
Но силы иссякают... На пределе...

Клыки-сосульки в судорог оскале,
Еще гремит ночами грозный рев...
Но звонкою капелью льется кровь,
Пятная снег, примерзший на протале...

Еще он в смерть свою почти не верит,
Вцепившись лапой в ветвь седой сосны...
Звонит стрела охотника-весны...
И все же очень жаль мороза-зверя...

Александр ОЛЬШАНСКИЙ

ПРИВЕТ ОТ ШИШКИНА

1

В это сухое и безветренное июньское утро Пармен Парменович Шишкин трудовой день начал, как обычно, с осмотра нового корпуса производственного объединения, двора, неказистых подсобок, натяканных по углам. Подсобки были давней болью Шишкина, они и питали сокровенную хозяйственную мечту: сломать все к чертовой матери, пока само не загорелось. Было время, когда он, завхоз, заведующий складом, экспедитор, столяр и плотник объединения, гордился каждым из этих строений, потому что вышли они из-под его топора и молотка. Но с тех пор, как построили трехэтажный корпус-красавец из белого силикатного кирпича, с окнами на всю длину здания, с виду настоящий заводской цех, у Шишкина возникла стойкая нелюбовь к заслуженным развалюхам, и он именовал их теперь не иначе как гадюшниками.

— Надо все сломать, оставить только старый корпус, где склад. Он кирпичный, а остальное, боюсь, в один прекрасный день пыхнет, — говорил он не раз директору Ивану Петровичу Иванову, по давней дружбе просто Ванюшке Иванову.

— А не жалко? — спрашивал Ванюшка Иванов и сжимал губы.

По губам Пармен Парменович, как у иных в глазах, мог прочитать многое. У директора не было глаз, вместо них чернела сплошная повязка, губы у него тоже были перепаханы миной, составленные каждая будто бы из нескольких частей. В общем-то Ванюшка Иванов лицом — страшен, но уже много лет все держал в голове, и это всегда удивляло Шишкина. Как никак — производство, семьдесят человек, и что ни человек, то история.

— Конечно, жалко, Ванюшка, ну а если пыхнет? Одна ведь бумага...

— Не пыхало раньше. И не пыхнет еще. Подожди, Пармен, вот разбогатеет...

«Скупердяй чертов», — ругался он. Прижимистость

Ванюшки объяснялась легко. С нуля начинал он это заведение, всю жизнь сюда вложил, свою и его, Шишкина. Как тут шиковать и как не пожалеть, если первую хибарку строили из того, что кто достал, а как достал – того не спрашивал Ванюшка. Он в то время диктовал Пармену Парменовичу письма во все адреса, в которых доказывал, какое нужное это дело для слепых – погибнут в пьянстве и нищенстве молодые, в расцвете люди, потерявшие зрение в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Они всегда писали так, употребляя громкие и понятные всем слова, чтобы не подумали о них, как о какой-то шайке-лейке, и подписывались, указывая воинские звания, боевые награды, ранения, Пармен Парменович ставил свою подпись последним: «Шишкин Пармен Парменович, ст. серж., орд. Славы тр.ст., Красной Звезды, две м. «За отвагу», три ранения» и в скобках («зрячий, без пр. ноги»).

Тогда было отчаянно трудно, так трудно, что Ванюшка и сейчас, столько лет спустя, в чем-нибудь шикануть боится!

Осмотрев хозяйство, Пармен Парменович направился, а точнее – постучал не своей, протезной ногой по бетонной дорожке в склад, где у него размещалась конторка. Пересекая двор, наперерез ему шел парень лет восемнадцати. В кедах и джинсах, в клетчатой рубашке с закатанными рукавами и с рюкзаком за плечами. За воротами стояла девица такого же облачения. «Что за туристы в нашем монастыре», – удивился Шишкин и перестал стучать, поджидая гостя.

Парень поздоровался, внимательно приглядывался к нему, в чем-то сомневаясь. Шишкину показалось, что он парня где-то видел, ему помнились широко и раскосо поставленные ногайские глаза, овал лица тоже был знаком, и посадка головы, и эти тонкие, раздувающиеся крылья носа.

– Не вы – Пармен Парменович Шишкин?

– Он самый. Ну...

– Я к вам. Валентин Самвелов, Дарьи Михайловны сын...

– Постой, парень, какой Дарьи Михайловны? – спросил Шишкин, хотя тот молчал, присматривался – какое впечатление произвели его слова. – Даши?! Ну-ну... Даши, значит, сынок, Вот это привет Шишкину, вот так болеро... Жива она, здорова? И отец, выходит, значит, Борис Петрович, если не ошибаюсь? И он жив?

– Жива-здорова. И отец тоже.

– А с чем ты ко мне пожаловал?

– Нужно поговорить...

– Так ведь, парень, у меня работа. Не могу я сейчас рассусоливать. Да и о чем говорить?... («Теперь ясно, какой

камень в мою реку бросили. Круги пошли, да еще какие круги...») Вон оно как все было! — воскликнул Шишкин и поморщился, как от внезапной боли.

— Я должен знать, Пармен Парменович, как это произошло. Завтра я по путевке уезжаю на КамАЗ. Родители не знают, они думают, в институт поступать буду. А я после того, что узнал, с ними жить не могу...

— Какой принципиальный, — сказал Шишкин, и было трудно понять, одобряет он поступок Валентина или подсмеивается над ним. — Придется повременить, парень, до пяти часов. Подождешь меня возле ворот, закончу работу — поговорим...

2

«Вот это привет Шишкину, вот так болеро», — повторил он свое любимое выражение, сидя в конторке склада и перелопачивая бездумно ворох служебных бумажек. «Какой из меня сегодня работник, Ванюшка? Прости», — подумал он, сгоряча сгреб накладные в ящик стола, а потом успокоился, вернул их на место, придвинул к себе счета с замусоленными до черноты костяшками и стал гонять их по прогнувшимся проволокам, высчитывая, кому и сколько сегодня отправить папок-скоросшивателей, разного калибра картонных коробок, пакетов, конвертов больших и белых — для важных бумаг, и маленьких конвертиков, размером в два спичечных коробка, которые на родственном «по слепому делу» — оптико-механическом заводе — шли на упаковку линз.

И обстоятельно, с толком и расстановкой, как, впрочем, все делал в жизни, вспоминал события давней давности...

Начинались они в тот самый день, когда демобилизованный Пармен Шишкин оказался на родной станции. Спрыгнул с подножки вагона неловко, на поврежденную в конце войны ногу, но упасть ему не дали, Шишкин боялся приехать в пустой разрушенный город, а народ пер навстречу, ломился в вагоны, кричал и ругался, норовя как-нибудь половчее объегорить ближнего своего. Дел много, народ победил, он спешит, философски рассудил Шишкин, и стал вытаскивать из толчей чемоданы, в которых вез не воздух, но и не трофейное барахло, а в основном инструмент — шерхебели, стамески, рубанки, фуганок, мелочь разную вроде плашек, сверл, метчиков, все из хорошей, золингеновской, хвалили ребята, не легкой стали.

Выбравшись из толпы, он погоревал у вокзала, от которого

осталось полторы стены с пустыми, черными глазницами окон. Непривычно и больно было видеть за ними развалины на месте дымных и грохочущих цехов паровозоремонтного завода, покореженные фермы переходного моста от вокзала к поселку паровозоремонтников, потерявшему за войну все свои этажи.

Раньше у него на этой станции было жилье, жена Таиска. Он прожил с нею так мало, что не успел обзавестись детьми, а ее уже не было в живых. Во время бомбежки Таиску тяжело ранило, потом, как писали соседи, по дороге в больницу она умерла. Больше никакой родни у него не водилось, он мог ехать куда угодно — в какие только места ни приглашали однополчане, — но вернулся нас свою станцию, полагая, что у каждого человека должно быть на земле родное место, куда он должен всегда возвращаться, где можно было бы пристроить не только свое тело, но и душу. К то же, наслушавшись немало историй, в которых люди, считавшиеся погибшими, счастливым образом оказывались живыми и находили родных, он втайне надеялся, что, может, настанет и его черед, может, соседи ошиблись...

Из всех станционных построек уцелел туалет, цель была невелика и не имела особого стратегического значения, да кирпичная будка со старинной глазурованной табличкой «кипяток». Здесь Шишкин прощался с Таиской. Она проводила его до военкомата, попрощалась и пошла на работу, дежурить по станции. Вечером, когда их эшелон, выйдя из тупика, остановился перед вокзалом, Шишкин увидел ее на этом месте и обрадовался так, будто не виделись они много лет.

— Я знала, что увижу тебя сегодня, — сказала она. — Это плохо: прощаться дважды. Это уже навсегда...

— Таиска...

Она молчала, глаза у не были сухие, она и в военкомате не плакала.

— Поезжай, — она взялась за язычок колокола, помедлила и ударила отрывисто. — Поезжай... Только береги себя, Пармен, береги. Я буду ждать тебя...

Резко и требовательно закричал паровоз. Шишкин схватил ее побледневшее лицо, она отпрянула и сказала почти с обидой:

— Что же ты в глаза целуешь, глупый, дай наглядеться на тебя...

Шишкин прыгнул на подножку, обернулся — Таиска бежала за эшеленом, зажав фуражку с красным верхом в руке, и смотрела на него...

Ему то ли послышалось, то ли въявь кто-то крикнул: привет Шишкину! Это вот — привет Шишкину — неотступно следовало за ним, и, пожалуй, было бы непривычно, если бы разные друзья-приятели перестали так приветствовать его. Да и сам он прибежал к нему, удивляясь чему-нибудь, или попадая в сложные житейские переплеты, или расставаясь с человеком, делом, своими задумками. Позже к «привету» приклеилось «болеро» и, хотя он толком не знал, что это такое, но поскольку оно пристало к нему, помогало в чем-то, он не спешил расстаться с ним.

Тогда, на станции, он оглядывался по сторонам, но кто кричал, не определил. Пятсот-веселый поезд (так назывались многие послевоенные поезда) уже набирал ход, а борьба за него — остроту. Сорвав с головы фуражку, он помахал всем, кто ехал в вагонах, повис на подножках, устроился на буфере или облюбовал крышу, чтобы кричавший, если был такой, не подумал: перестал Пармен Шишкин признавать своих.

Пятсот-веселый убыл, на станции стало просторно, и Шишкин с радостью увидел на самом ее краю желтую двухэтажную казарму, где у них с Таиской была комната. Когда он подошел ближе, то со щемящей радостью увидел, что возле третьего окна на втором этаже сушится цветастое платье. «Таиска?!» — обожгло его, и он прибавил шагу, а потом, припадая на раненую ногу, стал срываться на бег, отчего золингеновские изделия ходуном заходили в чемоданных утробах.

Наконец он достиг подъезда, бросил трофеи вниз и ринулся наверх, толкнул дверь. Что-то звякнуло, должно быть, соскочивший крючок, и Шишкин оказался посреди комнаты. За ширмой, закрывавшей печку, кто-то был — он явственно слышал, как всплеснули там водой.

— Таиска! — заорал он и отдернул ширму.

И даже когда Шишкин понял, что перед ним не Таиска, а незнакомая женщина, напуганная его вторжением и криком, сдвинуться с места не мог — ударила по ногам расслабляющая дрожь. Женщина была полураздета, мыла голову, в мокрых волосах ее таяла мыльная пена. Она первой пришла в себя и спросила:

— Так и будем стоять?

И задернула ширму. Он опустился на подвернувшийся стул, ослабил ворот гимнастерки, закурил, окинул взглядом огромный фикус в углу, кровать, комод, кухонный стол под давно потерявшей рисунки клеенкой, стулья и табуретки, которые смастерил перед самой войной, но не успел

покрасить. Над комодом висела Таискина фуражка с красным верхом.

Он поднял глаза — с большой фотокарточки, не совсем удачно подрисованной фотографом, грустно глядела на него она сама. «Здравствуй, Таисья Денисовна, вот я и вернулся», — мысленно обратился к ней, хотел извиниться за то, что жив, а ее уже нет, сказать, что война есть война, и главное на ней, с какой стороны ни посмотришь, — все-таки убивать и самому при этом постараться не быть убитым. Кому-то везет, а иному судьба скажет: привет Шишкину... Но он не обратился к ней с таким, несправедливым в сущности оправданием — так все было ясно.

— Вы Пармен Парменович? — спросила женщина.

— Так точно.

— Подождите немножко, я сейчас... Сегодня воскресенье у нас был.

— А я никуда не собираюсь, — неизвестно отчего враждебно ответил он.

— Конечно же, вы — хозяин комнаты.

Уловив в ее словах иронию, Шишкин назло остался сидеть и ждать, хотя ему следовало бы сходить за чемоданами. Она попросила принести с балкона сарафан. «Вот еще, командует», — заворчал он, но снял с веревки невесомы, пахнувший мылом сарафан, вспомнил, что такой запах был и у Таискиных вещей.

Женщина вышла. Она слишком туго повязала голову полотенцем или у нее всегда было такое выражение лица, но Шишкин сразу уловил что-то решительное и властное в ее характере, степное и неукротимое в разлете бровей, быстрых, чуть раскосых по-ногайски глазах и удивился, что все это как-то не вязалось с доброй, приветливой улыбкой. «Яркая дамочка», — отметил он.

— Будем знакомиться? — спросила она. — Даша.

— Очень приятно, — он встал неуклюже, постарался как можно осторожнее пожать розовую и еще влажную руку.

— Разве так можно кричать? — упрекнула она мягко, даже ласково, присаживаясь напротив и поправляя полотенце на голове, натягивая на коленях не глаженный сарафан. — Так можно и зайкой оставить.

Он согласно закивал головой, мол, можно и оставить.

— Бывает, — сказала Даша и, рассказывая о том, что их троих здесь поселили в сорок втором году, что подруги давно разъехались по родным местам, а ей пришлось остаться, подошла к комоду, выдвинула ящик и достала оттуда Таискину записку, сложенную треугольником. Он развернул

ее, глаза наткнулись на верхнюю строчку «Пармеюшка, любимый мой», и будто послышался ее голос, который признавался ему, как она боится за него, такого большого и заметного, в которого очень легко попасть. Ей захотелось как-то отметить день, когда она проводила его на фронт, — не столько отметить, потому что это не праздник, а что-то сделать приятное ему тогда, когда он вернется. Вот и купила бутылку вина, которую они выпьют после войны. И наказывала не пить одному, если вдруг вернется раньше, чем она.

— Вот и вино, — Даша поставила на стол темную бутылку с горлышком, залитым сургучом. — Мы так хотели в День Победы по капельке из нее выпить.

Он поднял голову, и Даша увидела в его глазах нечто такое, что отвела взгляд в сторону, а потом сказала неожиданно:

— У меня тоже погибли все. Муж — на фронте, а родителей — немцы...

Ему стало стыдно, что он, здоровенный мужик, раскис. Он принес чемоданы, развязал рюкзак, вывалил на стол консервные банки, рафинад, сухари, извлек фляжку со спиртом и предложил:

— Выпьем за них.

Они пили за его возвращение, за Таиску, мужа и родителей Даши, за то, чтобы не было больше войны. Потом пили еще, он молчал, молчала и Даша, пили, каждый думая о своем.

Было тягостно, и Даша начала рассказывать, как жили они в войну. Из ее рассказа он понял, что она работала учительницей, директором школы на станции, затем ее перевели в районо. Глядя на нее, он думал, что вот она — молодая, красивая, грамотная — тоже одинока и несчастна. Своих возможностей он никогда не переоценивал, что и говорить, неровня ей был по всем статьям: и грамотешки маловато, и внешность неподходящая — волосы конопляные, из нечесаной матерки, говаривала Таиска. Не нос, а курносище, с детских лет лупится, а нога — сорок шестого размера, сам с обувью извелся и старшин на войне замучил. Нет, не переоценивал, хотя Таиска, запуская пальцы в его копну, суеверно вспоминала примету: два вихра — две жены.

Когда допили спирт, Даша не выставила Таискину бутылку, и он оценил это. Он поблагодарил ее за угощение и стал стлать шинель на полу. Даша запротестовала: ему нужно выспаться с дороги как следует, в конце концов он приехал домой. Она здесь теперь гостя, может уйти к

знакомым или к своим сотрудникам.

— Не понять тут, кто у кого в гостях, — сказал Шишкин и растянулся на шинели, заснув сразу, по-солдатски быстро и бережливо.

3

У него начались вольные дни. Вставал поздно, долго брился, надраивал награды и шел бесцельно бродить по улицам, но надеясь встретить кого-нибудь из знакомых. После двух таких выходов стал стесняться своего праздного вида, занялся ремонтом домашнего скарба, покрасил наконец стулья и табуретки, починил дверь, застеклил окно. Поджидал за работой Дашу. Она приходила не каждый день, ночевала в каком-то общежитии или просилась к своим сотрудникам, а может, оставалась в колхозах, куда ее направляли уполномоченной. Но все-таки приходила, извинялась за беспокойство, тем более что он затеял ремонт, и говорила каждый раз, что начальство никак не может решить, куда ее поселить. Он прекратил домашние работы — ему хотелось, чтобы она приходила каждый день.

И в тоже время понимал: поступает скверно, не успел как следует погоревать о несчастной своей жене, а в мыслях уже другая баба. Он нашел очевидцев бомбежки станции, узнал, что Таиску ранило, когда бомба попала в то крыло здания, где располагались дежурные. Пошел туда, постоял над развалинами, представляя, как рушатся стены и потолок, как вытаскивают ее из-под обломков, наверное, уже беспмятную, пережил такое бессилие, какое бывает только во сне. На кладбище он нашел братскую могилу погибших в ту бомбежку — невзрачный столбик, со звездой из расслоившейся под дождями фанерой, над холмиком, готовым в скором времени сравняться с землей. Здесь, на кладбище, он дал себе слово поставить ограду, приличное надгробие на могиле жены и вечных теперь ее товарищей-спутников, почувствовал сильно, с болью в душе, какой он одинокий, скверный и бесполезный человек.

С этим настроением он забрел в привокзальную чайную, взял бутылку водки и стал быстро, без всякой радости хмелеть. Пусть земля будет тебе пухом, Таиска, мысленно произносил он одни и те же слова на скромной и запоздавшей панихиде, просил не винить за то, что не сразу, не в первый же день пришел к ней, что приглянулась другая.

К столику подставил стул тощий парень в железнодорожной форме. Лицо его, совсем еще

мальчишеское, стремительные, серые глаза, обычно называемые кошачьими, были знакомы. Парень загадочно улыбался, ждал.

— Нет, друг, прости, знаю тебя, а вспомнить не могу. После контузии...

— Воронеж забыл? Ну...

— Фу-ты, елки зеленые — старший лейтенант Строев! — воскликнул Шишкин. — Как не помнить! В армейской форме признал бы сразу...

— Я видел тебя еще в тот день, когда ты приехал. И кричал: привет Шишкину! Я на дрезине ехал на узловую. Слышал?

— Конечно, слышал. А что не признал — неудобно, черт возьми. Однополчане же...

— Брось, Шишкин. Это я обязан ребят из вашей роты помнить. Не забыл, как тащили меня километра три, а снег — по пояс? Ваш Сашка Слепнев нашел меня. Это ты помнишь?

— Еще бы.

— Значит. Я вашей роте в твоем лице пол-литра должен!

— Мы не за пол-литра тащили тебя, не за пол-литра воевали...

— Да ты что, Шишкин, шуток не понимаешь? Это же ежику ясно.

— Извини, старшой, — смягчился Шишкин. — Я вот к жене сегодня ходил. Поминаю. Праздник, так сказать, в кругу семьи... А Саша Слепнев полег...

Он разлил остатки водки. Строев взял еще бутылку, и Шишкин, окончательно захмелев, начал рассказывать, какая у него была добрая душа жена Таиска. Потом разговор пошел о фронтовых знакомых. Строев после ранения в плечо был демобилизован. Шишкин перечислял общих знакомых, доживших до Победы, тех, кто был ранен или убит.

— А ты, Пармен, присмотрел работу или еще гуляешь? — спросил Строев.

Шишкин молчал.

— Иди ко мне, — убеждал его Строев. — Я начальствую над строительно-монтажным поездом. Хочешь мастером на ремонте путей?

Он опять промолчал.

— Ну, старшим мастером...

— Чудак-человек, я за должность не гонюсь, мне работу по мне надо. А что я в путейском деле смыслю?

— Получил предложение? Значит, получил...

— Никто мне ничего, командир, не предлагал. Стану на учет в горкоме и пойду в литейку, на паровозоремонтный.

Я ведь модельщик.

— У меня литейного цеха нет, Пармен. Но люди позарез нужны. Особенно такие, как ты, мастеровой народ. Я тебя на любую работу возьму, только дай знать. Завяжи узелок...

Несколько дней спустя он, крепко поразмыслив, решился работать у Строева столяром и вместе с ним выбирал место под мастерскую.

— Здесь? — спросил Строев, топнув ногой.

Прежде чем согласиться, Шишкин внимательно осмотрелся. Недалеко от вокзала, рядом с бывшим сквериком, где уцелело несколько кленов, буйно разрослись лебеда и репейник. От перрона это место ограждалось забором — никто из чужих не будет шастать, здесь можно и сушить материал, благо солнечная сторона.

Строев ушел, а он сел на камень, прилетевший в этот закуток при бомбежке, свернул сигарку и начал прикидывать, как лучше соорудить мастерскую.

Потом он наслаждался приятностью дня: было солнечно и тепло, с луга, зеленевшего между станцией и городом, поведало осенней бодрящей свежестью. Он размышлял о том, не напрасно ли принял предложение Строева, может быть, пока не поздно, стоит еще вернуться на паровозоремонтный, подождать, пока пустят в ход литейку. Очень уж непонятным несерьезным казалось ему хозяйство Строева, напоминавшее больше цыганский табор, нежели солидную организацию. Размещалось оно в приспособленных под жильё вагонов, разукрашенных разноцветными, весело трепетавшими постирушками, потому жила в них не только зеленая молодежь, но и семейные, и вдовы с ребятней.

Строевцы, как называло себя население вагонов, имея в виду фамилию начальника или род своих занятий, а возможно, совпадение того и другого, должны были расширить станцию, проложить второй путь до узловой. Это было знакомо Строеву и его людям, кочевавшим уже третий год от станции к станции. Строева заботило другое — им поручили восстановить здание вокзала, а для этого требовались каменщики, плотники, столяры, штукатуры, причем местные, потому что вагоны были переполнены жильцами. К нему никто не шел — чего-чего, а работы в городе хватало.

Шишкин понимал, что через год-другой все это будет сделано, поезд пойдет дальше. Жить на колесах он не собирался, после войны ему хотелось жизни основательной и, главное, твердой уверенности в ней. Однако Строеву отказать не смог, а по правде — не столько ему, сколько себе

в желании поработать на восстановлении вокзала. «Там ведь каждая дверь — не просто дверь, а уникальная вещь. Я видел проект, пока его еще не утвердили, но построишь такое здание — всю жизнь будешь гордиться. Будешь ходить мимо и гордиться», — говорил ему Строев, а у Шишкина тогда возникла мысль — поставить тем самым памятник Таиске.

Он бросил под каблук окурок, подошел к тому месту, которое облюбовал под столб, снял ремень и, поплевав на ладони, взял лопату. «Начали», — скомандовал он себе, вгоняя ее в неподатливый пристанционный грунт. Закончив яму, он направился к теплушкам, где утром видел длинные шпалы под путевые стрелки, выбрал одну из них, на которой поменьше было вонючей пропитки, и поволок на стройку. Ставил первый столб, выверял его на вертикальность и трамбовал землю не без торжественного настроения. Все-таки от этого столба он начинал возводить не только времянку под столярную мастерскую, а брала свой исток его новая, мирная жизнь.

4

Даша не появлялась в казарме на краю станции уже неделю. Если дали ей комнату, рассуждал Шишкин, она взяла бы вещи. А не случилось с ней что-нибудь? Потом подумал: что может случиться, не война ведь. Правда, пошаливает всякая шпана, но, если бы что-нибудь такое, он давно бы узнал. То, что он так встревожился, было для него ново и непонятно. Все-таки она нравилась ему, и он желал, чтобы начальники, от которых зависит ее дело с комнатой, не особенно спешили.

Среди ночи он вскинулся — снилось, будто немец сверху на него кидает бомбы. Он даже видел лицо пилота в очках, его тонкогубую, резиновую улыбку, когда Шишкин не мог сдвинуться с места, чтобы прыгнуть в свежую воронку с сизоватым дымком на дне. «Что ж ты, гад, делаешь, ведь все уже закончилось!» — кричал Шишкин.

Наяву же за окном грохотал товарный поезд. «Экая муть плетется и плетется», — с облегчением подумал он и потянулся к стулу, на который на ночь клал кисет с табаком.

— Не спится, Пармен Парменович? — услышал он голос Даши.

— Да снится тут всякое...

— Я в командировке была, а вы все время спали на полу? Конечно, там приснится что угодно.

Товарный прошел, стало слышно, как шумит тополь перед

казармой, на потолке ползали тени его ветвей. Шишкин не стал сворачивать сигарку: одна канитель, да и курить при Даше, среди ночи, неучтиво. Он отвернулся к стене, укрылся шинелью с головой и попытался уснуть.

Прогрохотал еще один товарняк, и снова все утихло. Даша молчала, но он чувствовал — она готовится что-то сказать. Затем, словно его сюда приглашали, подкатил к казарме маневровый и, посвистывая, стал катать туда-сюда вагоны. Было хорошо слышно, как ругаются между собой стрелочки или составители. Он снова потянулся к кيسету, и в этот момент ему почудилось, что Даша всхлипнула. Приподнял голову — точно, уткнулась в подушку.

Он не знал, как все произойдет, но знал, что у ночи этой предопределен исход. Привет Шишкину. Будет выпита Таискина бутылка — прости, Таисья Денисовна, живому ведь — о живом. И, быть может, вещей окажется твоя примета: два вихра — две жены...

5

Ночь эта была.

Но после нее ничего существенного в жизни Шишкина не произошло. Даша стала приходить совсем редко, как правило, поздно, когда он уже спал.

— Хороший ты человек, Пармен, — как-то сказала она ему. — Добрый, хозяйственный, не записной пьяница, одним словом, положительный. Но вот не любим мы друг друга. Не вздумай убеждать, что это не так. Знаю: так это, так... С одиночества потянулись друг к другу, живые ведь... У меня тогда день рождения был, и никто — ни одна живая душа не вспомнила об этом. Может, потом и любовь придет или привычка, а пока, пока пусть будет так, как есть.

— Пусть будет так, — согласился Шишкин, подумав, что она права.

Мастерская вышла на славу. Снаружи он обшил ее горбылем, изнутри стены и потолок одранковал, обмазал глиной вперемешку с соломой, настлал пол, сложил печку — любой мороз не страшен. И крышу поставил двускатную, шалашиком, а не плоскую, с которой здесь, на станции, это сооружение проезжие люди могли принять наверняка не за мастерскую, да еще злились бы, что стоит оно за перронной оградой.

Она выходила на восток и запад — зимой не будет холодно, а летом — жарко. Верстак он расположил возле западного окна — в нем виднелся город на холме, полыхала

над ним вечерами сочная осенняя заря. А на печке булькала клееварка, распространяя приятный — на вкус любителя, конечно, — запах столярного клея.

Дорвавшись до работы, по которой давно истосковалась душа, Шишкин шаркал рубанком, сколачивал молотком нехитрую, но добротную мебель строевцам: табуретки, столики, шкафчики, и напевал один и тот же куплет, приставший к нему неизвестно когда, но прочно, будто навсегда. Само срывалось под стук: «Артиллеристы! Сталин дал приказ: артиллеристы, зовут Отчизна нас! Из сотни тысяч батарей, за слезы наших матерей, за нашу Родину — огонь, огонь, огонь!»

Так в хлопотах Шишкин не заметил, как отпыхали осенние зори, задождило, посерели короткие дни.

Иногда заходил Строев, садился поближе к теплу, грел над печкой бескровные интеллигентские руки, говорил о делах, о вокзале, проект которого вот-вот должны утвердить — да все не утверждали. Однажды он зашел необычно мрачный, озябший, в задубевшем под дождем плаще. Пристроился к печке поврежденным под Воронежем плечом и долго наслаждался теплом, ахая.

— Лучше меня живешь, Шишкин, — сказал он.

— Так ведь ты начальник, Анатолий Иванович. А хороший начальник — он всегда плохо живет. Думать приходится не о себе одном...

— Философ, — усмехнулся Строев. — То-то и оно — думать не о себе одном. А у тебя на погоду ногу ломит? Ноет она у тебя, болит или как?

— Бывает и ноет, и ломит, когда как, — уклончиво ответил он, теряясь в догадках, куда клонит Строев.

— Тепло у тебя, спокойно. Женой какой обзавелся, умеешь все-таки устраиваться, дьявол!

— Никакая она мне не жена, Анатолий Иванович.

Строев не поверил, пригрозил пальцем, мол, так мы тебе и поверили, а потом, прищурившись, посмотрел на него и спросил:

— А не захотел ли ты здесь, Пармен, как говорится пересидеть горячие дни борьбы за коммунизм? Не стать ли тебе у нас комиссаром?

Под этим взглядом Шишкину стало не по себе. Никто и никогда в жизни не считал его сачком, никогда и нигде он не сачковал, так что за такие слова было впору и обидеться. Он догадался, о каком комиссарстве идет речь — парторга поезда перевели на какую-то другую работу, понял, что от него требуется сегодня большее, нежели сколачивание

мебели строевцам, и подумал не без сожаления, что жизни в столярке — привет...

— У меня, Анатолий Иванович, ведь и семилетки нет. Неполных шесть классов, можно считать, пять...

— Не умеешь кривить душой, не получается это у тебя. И не учишь этому. Ты фронтовик, а не шкура какая-то. Не мне тебе объяснять. А насчет протоколов — Варя Дубинина будет писать. Она грамотная женщина, поможем, о чем речь... Короче: сегодня вечером собрание. И пойдешь бригадиром на прокладку пути.

— Я?! — удивился Шишкин. — Не согласен. Какой из меня бригадир? Лучше тогда рабочим.

— Ну иди рабочим, к Варе Дубининой, — равнодушно сказал Строев.

6

Теперь, много лет спустя, Шишкин плохо помнил свою работу на путях, наверное, потому, что не любил ее и не смог полюбить. Нужно было идти, и он пошел. Научился укладывать шпалы, таскать и равнять рельсы под командой Вари Дубининой, кричавшей на всю округу: «Иии — раз! Иии — два! Иии — раз! Иии — два!» Научился с трех ударов вгонять в шпалу костыль, сверлить и резать рельсы, радоваться каждому десятку метру восстановленного пути. Эти метры ложились на старое полотно, которое проходило через низину с лугом, через ольховую рощу, заснувшую в облаке промозглого тумана, поднималось на подъем, на песчаные бугры, а затем ровно и прямо, как стрела на карте, разрезало вековой бор, тянувшийся на полтора десятка километров, до разъезда Буерачного.

Сейчас проехать до Буерачного — душа поет. Едет Пармен Парменович за грибами в конце лета, на рыбалку под выходной, стучит электричка в чистом, нарядном сосновом лесу, — и не верится, что здесь в послевоенную пору голодные строевцы, в основном женщины, шпала к шпале, рельс к рельсу проложили линию.

И всякий раз вспоминается ему бедовая Варя Дубинина, с огрубевшей на ветру кожей и оттого похожая на мужика. Она ругалась матом с подопечными, мастерами, начальником поезда, курила махру.

— Ты бы, Варвара, перестала гнуть-то, — сказал ей как-то Шишкин.

— А с ними, чертями полосатыми, иначе нельзя. Буду я перед ними сопли распускать, — отмахнулась она.

— Прекрати, Варвара. Поставлю вопрос...

— Слушай, парень, — оборвала она его, — я на фронте воспитанная, Так что ты меня на бюро не бери — я не то видывала, мать-перемать... А не по нраву у нас — катись к...

Однажды Варя выгнала из теплушки какого-то начальника. Женщины после работы устроили погром насекомым, и когда начальник открыл дверь и застыл на пороге, не понимая, что происходит. Варя подошла к нему, повернула лицом в обратную сторону и с матерком вытолкнула вон. Конечно, начальник мог принять это за шутку и не обидеться, но он обиделся и вызвал к себе Шишкина.

Пармен Парменович, предчувствуя что-то неладное, вошел в теплушку Строева и увидел приехавшего. Тот сидел за столом начальника поезда, перед ним лежала форменная фуражка. Развалившись на стуле, в расстегнутом кожаном пальто он слушал Строева, который, стоя перед ним навытяжку, оправдывался.

— Вот и парторг, да? — приехавший, не глядя на Шишкина, зло забарабанил пальцами по столу, рывком поднялся и стал прохаживаться по клетушке строевского кабинета, задевая стоявших кожаной полкой.

— Должен вам доложить, уважаемые товарищи, — плохо. Работы идут медленно. Мы побывали с товарищем Строевым на Буерачном. Мостостроители в ближайшие месяцы сдадут мост, а вам остается уложить около десяти километров пути. На это вам потребуются при таких черепаших темпах сколько, а?! К тому же с нового года нужно приступить к строительству вокзала. А потом, что за порядок, что за нравы в ваших вагонах?! Меня, представителя политотдела отделения дороги, какая-то баба обложила матом, вытолкнула в спину. Грязь, антисанитария, весь эшелон в пеленках! А наглядной агитации нет, живете как беженцы. Оформите поезд, наконец! Кто это должен вам подсказывать, товарищ Строев, товарищ Шишкин?

Пармен Парменович, пользуясь моментом, когда начальник отошел к двери и стоял к ним спиной, тронул Строева за рукав, спросил взглядом: кто это? Тот махнул рукой — потом, мол...

А это был Борис Петрович Самвелов.

Вечером, после того как он ушел, Строев и Шишкин составляли проект новых обязательств. Самвелов дал команду проложить до нового года сверх плана километр пути и написать о почине письмо товарищу Сталину. Не

ленятся строевцы, хотел возразить Шишкин, жилы рвут, как саперы бабы работают, только бы лишний рельс уложить, но не возразил: раз Самвелов начальник, его дело — ругать.

— Утром соберем народ и примем, — сказал Строев. — Самвелов пообещал приехать, значит, приедет, я знаю. Да и не километр, а километр семьсот тридцать один нужно, чтобы дойти до моста... А письмо, Пармен, по твоей части. Возьми любую газету, посмотри, как там пишут.

Придя домой, Шишкин обложился газетами и стал выискивать в них подходящие абзацы. Затем на свой страх и риск выдрал из какой-то Дашиной тетради двойной лист и приступил к переписыванию. Писал огрызком химического карандаша, который то и дело слюнявил для выразительности почерка. Он не хотел, чтобы его за этим занятием застала Даша: неловко даже говорить: он, Шишкин пишет письмо самому товарищу Сталину!

Строевцы поймут: Самвелов требует, разве поймет Даша? Может, и не засмеется открыто, в глаза, но подумает: захотел Пармен Шишкин тоже славы, вступил в переписку с самим Иосифом Виссарионовичем... Мало у того забот что ли? Ну, ладно, рапортуют в газетах о большие заводы, так их вся страна знает, а здесь что? Задрипанный какой-то поезд, а туда же... Нет, и не думал Шишкин отправлять письмо товарищу Сталину, считая, что оно, конечно, для подъема духа но строевцам нелишне, всерьез беспокоить вождя посланием — этого он и в мыслях не держал.

Утром, когда Шишкин показал письмо Самвелову, тот похвалил:

— Вот видите, как хорошо вы написали: взвесив свои возможности. То-то и оно — возможности, они всегда есть. По стилю бы немного надо пройтись, но зато от души. А теперь пойдете к народу.

Сверхплановый тот километр и еще семьсот тридцать один метр строевцы проложили. Было холодно и голодно. У Шишкина в последние дни перед Новым годом распухли ноги — он с трудом надевал и стаскивал валенки. После Нового года он не вышел на работу, лежал дома. Даша получила комнату, забрала вещи и ушла из его жизни. К нему приходил Строев, а однажды заглянула Варя Дубинина, материлась и плакала, рассказывая, как одна женщина нашла на бровке огрызок сдобной булки, выброшенной из поезда, отнесла своему сынишке, а затем хвалилась, что ей повезло.

Неожиданно навестил Самвелов в сопровождении Строева. Он прохаживался по комнате, как и тогда, в конторе,

скрипел кожаным пальто, интересовался делами, здоровьем.

— Одна нога отошла, Борис Петрович, а вот другая не хочет. Раненная она у меня, а доктор пока ничего определенного не говорит.

— Значит, хороший доктор, если ничего не говорит. Им вообще меньше верить надо.

Самвелов остановился возле комода, стал просматривать старые газеты, провернулся вдруг круто, и Шишкин впервые увидел, что у него большие голубоватые глаза с необычно темными зрачками.

— А это — что? — спросил он, показывая письмо, которое писал Шишкин. — Значит, вы не отправили его товарищу Сталину? Ну, знаете, я затрудняюсь даже как это квалифицировать. Вы за это ответите, Шишкин! Вы, Строев, будете свидетелем, подтвердите, где я его нашел!

Самвелов не задерживался больше, а Строев, повернувшись уже в дверях, покачал головой: эх ты, Пармен, Пармен...

7

Очнулся он, почувствовав, что куда-то едет. Мелькнуло лицо молоденькой девушки — под белой косынкой внимательные, немигающие глаза... Положили на что-то твердое. Над ним — огромная люстра с несколькими десятками лампочек, от них — сухой жар. Рядом заговорили люди, но смысла их слов он не улавливал и боялся, что это сон.

— Жив, солдат? — над ним наклонилось мужское лицо в белой маске.

— Жив.

— И еще хочешь жить? — с сильным кавказским акцентом спросило лицо.

— Хочу.

— Если хочешь, будешь жить, дорогой. Сколько тебе лет?

— Полных? Двадцать семь.

— А сколько раз тебя штопали?

— Три раза.

— Дело знакомое?

— Знакомое.

— Тогда считай: раз, два, три...

Он стал считать лампочки. Начал с самой верхней, дошел по ходу часовой стрелки до лампочки с надтреснутым стеклянным оконцем. Это была девятая. «Считаешь?» — донесся голос врача. Шишкин угукнул в ответ, осилил еще то ли пять, то ли семь, сбился со счета, вернулся к девятой.

А потом люстра стала матовой и медленно угасала, продолжая излучать сухой жар. Он хотел крикнуть: включите свет! И, может быть, крикнул, но уже не слышал своего голоса.

Это было уже в конце февраля. Старая рана открылась у него после того, как началось дело с письмом.

«Привет Шишкину «сказала» нога, — говорил ему в больнице Строев. — Выручила она тебя, Пармен. Выручило и то, что проложили мы путь до моста. Кто знает, как бы все обернулось... Ты тоже хорош. Дурья голова, сказал бы: на машинке перепечатали бы и отправили. И все. Посоветовался бы со мной — нашли бы машинку. В конце концов, сказал бы Самвелову, что это черновик! С такими делами шутки плохи. Но, Пармен, кто, кто сказал, что ты не отправил письмо? Заметил, что Самвелов искал его?»

«Не знаю, — ответил Шишкин. — Не ходи ко мне больше, Анатолий Иванович. Не ходи...»

«Ты думаешь — я сказал?!»

«Нет, что ты... Для тебя же будет лучше. И на работу к тебе не вернусь, Рассчитай меня, пожалуйста, выйду из больницы — другим делом займусь. Встретился здесь старый дружок Ванюшка Иванов, помочь ему хочу. Задумал он собрать всех слепых в городе и создать артель. Села надо объездить... Пропадают молодые ребята, побираются, пьют. Ему, бедолаге, тоже не повезло. Девятого мая сорок пятого года вышили они, праздновали Победу, а десятого — на mine рука дрогнула. Крым они разминировали... Помогу ему. Дядя у него работает в конторе утильсырья, коня дадут, подводу. И поеду с Ванюшкой Ивановым...»

И поехали они, получив трофейного коня и разболтанную телегу.

Но-о, Оккупант, пошевеливай! Разъелся на наших овсах, еле двигаешь. У Гитлераки, наверно, справно служил, а у нас — лень хвостом слепня согнать. Что ушами прядает? Форверст, скотина, форверст! Ага, знакомая речь? Двигай, двигай Оккупант, до села рукой подать...

Налетай, бабоньки, подешевело! Пуд тряпок — три тетрадки, кусок мыла. Полпуда — карандаш. Пищики, пищики, кому пищики? Тебе что, хлопче? Пугач? Полцентнера меди или алюминия, тонна железа. Чернильницы и чернильный порошок есть, а пилами не торгуем. Топоры есть. Пилы привезем, тетка, дай только срок. А есть у вас в селе воины, потерявшие зрение в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками? Показывай, хлопчик, дорогу. Пищики, пищики, кому пищики?..

«Дарья, она», – подумал Пармен Парменович. Он вспомнил теперь, что она ни разу не навестила его в больнице. Варя Дубинина носила ему узвар из сухих яблок и сахарной свеклы, а он ждал Дашу. Думал, что она не знает ничего, а потом, сказали ему, уехала в областной город. А она все знала... Неровня она ему, он всегда так считал, но было же что-то светлое в воспоминаниях о ней, согревало его доброе чувство ко всему тому, что было связано с Дашей.

Он догадывался, зачем приехал молодой Самвелов, что жилось Даше с его отцом не сладко. Но не проснулось в нем жестокосердие, не закипело в душе чувство мести, он только жалел Дашу и проклинал себя за неосторожные слова, сказанные утром Валентину. Кто знает, как истолковал он их и, быть может, в этот миг, обозлившись на весь белый свет, окончательно решился ехать на далекую стройку назло матери и считает себя чистым и принципиальным. И если это так, рассудил Пармен Парменович, то он, против своей воли, отомстил Даше. Она не хотела сделать ему зло, он был уверен в этом, а он, не желая мстить ей за это, отомстил.

– Вот это привет от Шишкина, вот это болеро! – воскликнул он и бросился к воротам.

Парня, конечно, возле них не оказалось. Был уже полдень, и Пармен Парменович заспешил в центр города, заглядывая по пути в душные в обеденную пору кафе и столовые. Обошел все аллеи и укромные уголки городского парка, спустился по крутой деревянной лестнице вниз, к реке, прошелся по горячему, слепящему глаза песку, всматривался в лица парней и не находил среди них Валентина. Пармен Парменович расстегнул потяжелевшую безрукавку и, подставляя грудь прибрежному ветерку, стал боком взбираться вверх по лестнице.

Он нашел его на автобусной станции. Валентин стоял с той девицей. Задрав головы, они изучали расписание и над чем-то смеялись. Девица при этом откидывала голову назад еще больше, поправляла волосы, падающие на глаза, заглядывала в лицо Валентину.

Шишкин подошел к нему сзади, взял за локоть и, кивнув девице, спросил:

– Уже едешь?

– Это мой знакомый, – сказал ей Валентин, и та, закусив губу, взглянула на Шишкина синими глазищами, но оставила их вдвоем, почувствовав, что они при ней не станут говорить.

— Знаешь что, парень, вот здесь наверху, — Пармен Парменович показал на возвышающийся через дорогу дом с четырехугольными колоннами, — есть ресторация, там можно пива выпить. И поговорить. Идет?

Валентин заколебался, поглядывал, словно привязанный, в сторону девушки, которая вышла из зала и прогуливалась теперь за сплошным, в полстены, окном, показывая шестеренку, нарисованную на спине футболки.

— Ну, сходи, скажи ей, пусть подождет, — не выдержал Шишкин и подтолкнул его за руку к выходу. — Найдешь меня наверху...

На веранде Пармен Парменович выбрал место, куда хоть немного падал тень от колонны, заказал пива, обязательно холодного, и когда принесли бутылки, вмиг запотевшие в тепле, не дожидаясь, пока подадут стаканы, из горлышка, на одном дыхании выпил одну из них. Крякнул от удовольствия так, что посетители за другими столиками подозрительно посмотрели на него.

Зачем малому нужно все знать, думал он, подозревая здесь какой-то умысел. И без обиняков спросил об этом Валентина, и когда тот, стесняясь, стал неестественно часто отпивать пиво, путано и не совсем внятно рассказывать о своей семье, о себе, Шишкин понял, что перед ним еще мальчик. С соответствующими представлениями о жизни, хороший в общем-то парень, который хочет сразу и во многом разобраться.

Из его рассказа стало ясно, что Даша и Самвелов жили не дружно, всю жизнь были неудачниками и обвиняли друг друга в этом. Самвелов вначале работал директором мебельной фабрики, потом начальником автобазы, затем в горкоммунхозе, пока наконец не сошелся с проходимцами из какой-то шарашкиной конторы. «А ведь все для вас старался, для вас!» — кричит он вот уже который год, подвыпив, и говорит жене, что она сгубила жизнь Пармешке, а потом и ему. «Ты знала, когда говорила о письме, что ему несдобровать. Только делал вид, что проговорила! Сделала это, чтобы потом занять его комнату! Моими руками! В то время я не мог молчать об этом. Ты и на следствии, когда я работал в коммунхозе, рассказала все, что знала. Как же — теперь я не нужен. А я вернулся, вот он я!..»

— А что говорит мать?

— Она молчит. Я ее спрашивал: «Мам, это правда, что говорит отец?» Она ответила: «Нет, а вообще — это не твоего ума дело».

— И ты решил уехать?

— Решил, — кивнул Валентин. — Старшая сестра, Ленка, пять лет назад уехала в Ростов и ни разу домой не приезжала.

— Она там замуж вышла?

— Вышла.

— Ну вот, видишь, — сказал Пармен Парменович, наливая пиво в стаканы. — Ей было неприятно говорить женихам, что ее отец сидел. Вот она и уехала от разговоров, которые женихов отпугивают. И, пожалуй, правильно сделала. Но ты тоже не хочешь жить с родителями. Почему?

— А как вы поступили бы на моем месте? — с обидой в голосе спросил Валентин и выпрямился, отодвинулся от стола.

— Ишь, как наежачился. Пей пиво...

— Не хочу.

— Родителей, парень, никто не выбирает. Ты ведь ни при чем, что отец твой, мгом... А насчет того, что мать твоя хотела избавиться от меня и занять мою комнату, — это ложь. Он вдальбливает ей в голову, что она тоже виновата. И может вдолбить в конце концов... Она, конечно, виновата, но лишь в том, что по бабьей слабости проболталась твоему папаше о письме. Без всякого умысла она сделал это, верь мне. Я двадцать пять лет думал, что тогда твой отец нашел письмо случайно. Ведь я и не помышлял с товарищем Сталиным переписываться. И мысли никогда не было, что она в чем-то виновата. Я тогда сваял дурака, а время было суровое. Что было, то было — все это наше, и никуда от него не деться. Не виновата твоя мать передо мной, не было у нее в душе какой-нибудь подлянки, нет! И знаешь, почему я так считаю? Да вот пример... Когда меня жена провожала на фронт, то купила бутылку вина, чтобы потом, после Победы, выпить со мной. Моя жена погибла, а твоя мать несколько лет хранила бутылку, не зная меня, не зная, вернусь ли я домой. Признавалась, правда, после, что в День Победы хотела со своими подругами понемножку из нее выпить... Ведь не тронула, а твоя мать потеряла на войне всю родню и, наверное, имела право... Пей пиво, парень..

— Спасибо, мне почему-то не хочется, — совсем не враждебно отказался Валентин.

— Ты не обижайся на меня, я побольше твоего на свете прожил и могу прямо говорить. Не понравилось мне, что хочешь покинуть мать. Сегодня мать бросишь, а завтра, как говорится... Поезжай на КамАЗ, это хорошее дело — соорудить в молодости что-нибудь весомое. Только матери скажи, и она поймет. Но не обижай ее эти, она ведь тебе мать... — Шишкин сделал паузу, выпил стакан пива. —

Может, есть хочешь? Или спешишь к девчонке? Пригласи ее тоже. Чего ей там прогуливаться, внизу...

— Не хочу я есть, Пармен Парменович, — сказал Валентин и поднялся. — Спасибо вам, Я пойду.

— Иди. Не обижай мать. Договорились?

— Ладно. До свиданья...

— Будь здоров... Если удобно тебе будет, передай от меня привет. Скажи: привет от Шишкина, — Пармен Парменович при этом как-то непонятно усмехнулся.

Он видел, как Валентин сбежал по лестнице вниз, пересек, исчезая за автобусами, площадь перед автостанцией, подошел к девчонке и стал что-то рассказывать ей, поглядывая сюда. Потом девчонка вскинула руку и помахала Пармену Парменовичу, помахал и Валентин. Он ответил им и кивнул вдобавок, и они скрылись за стеклянной дверью, пошли, вероятно, брать билеты домой.

А на следующей неделе, возвращаясь с работы, Пармен Парменович увидел возле старой казармы, в беседке под тополями незнакомую женщину. Когда она заметила его, то стала поправлять волосы, одергивать цветастое платье в огромных, в натуральную величину подсолнухах. И по тому, как это женщина делала, он понял, что приехала Даша. Он на всю жизнь, не догадываясь об этом, запомнил ее характерные жесты. Когда он подошел ближе, она поднялась, опустила руки.

В ней ничего не осталось от прежней властности и неукротимости, перед ним стояла пополневшая и постаревшая женщина с пучками морщин вокруг рта, с сединой, которую уже не истребить никакими красителями, и в глазах он прочитал и благодарность, и мольбу о прощении. Он никогда не умел точно выразить словами в ее присутствии, что думал или чувствовал, и на это раз задал вопрос, который вряд ли был уместен:

— И зачем ты, Даша, приехала?..

Анатолий МИРОШНИЧЕНКО

АНТИЧНЫЕ МОТИВЫ

* * *

Одесса. Ольвия. Отсюда
Подать рукою до Афин!..
Но ты не золотой дельфин,
Повremени, дружок, покуда...

И сам себе не обещаай
Попасть при жизни в Парфенон
И там переписать: «Стратон,
Сын Агамемнона, прощай!..»

Как скупо! А рука дрожит...
Лети, лети ж, душа пиита,
Туда, где Греция лежит
Прекрасная, как Афродита...

ЯБЛОКО РАЗДОРА

Пещера кентавра Хирона
Сияла, как светлый Олимп...
В умелых руках Аполлона,
В тени кипарисов и лип,

Одна золотая кифара
Гремела, как струнный оркестр.
Амврозией, дичью, нектаром
Леса наполнялись окрест...

Сам Зевс-громовержец с эгидой,
С божественным сонмом

сюда

Пожаловал не для суда —
На свадьбу Пелея с Фетидой!..

Хариты и оры танцуют,
Под музыку музы поют,
Бессмертные боги пируют,
Нектар новобрачные пьют.

Блится красой Афродита.
Любуется мужем жена...
... Обидою раздражена
Богиня раздора Эрида!..

Напрасно на свадебный пир
"Забыли" позвать её боги!..
Она в этой конской берлоге
Нарушит веселье и мир,

Припомнив им сотни обид!..
«За яблоко (зло золотое!)
Из славных садов Гесперид
Повздорят...
И будет их трое!..» —

Решила она и на стол,
Войдя невидимкой в пещеру,
Подбросила яблоко.
В серу
Макнула невинный глагол...

Чтоб вспыхнула спичкою ссора,
«Прекраснейшей» — было на нём
Рукою богини раздора
Начертано, будто огнём.

Богини прочли эту надпись,
И спор между ними возник
Запальчивый (вот она — напасть,
Зачатки грядущей грызни!..).

Бранятся Афина и Гера...
Грубит Афродита... И хор
Смолкает: нарушена мера...
Скандалом кончается спор.

Кто спорщиц рассудит?..
Ириду
Позвать бы! А лучше бы Зевс...

Но он не судья им: «Гермес,
Богинь на высокую Иду

Сведи под развесистый тис.
На склоне, на пастбище прямо,
Пускай их рассудит Парис —
Отвергнутый отпрыск Приама!..»

Со скоростью мысли и взора
Помчался с богинями гид
И яблоко зла и раздора
Парису вручил.

Приамид

Смутился... «Счастливым судьбой! —
Сказал ему быстрый Гермес, —
Быть в споре пикантном
судьёй
Велел тебе, смертному, Зевс.

Вот, юноша, перед тобой —
Богини в одежде атласной.
Отдай этот плод золотой
Одной из них — самой прекрасной».

А был уже
ставший под тис
Мужчиною, как не вертите,..
И яблоко отдал Парис
Богине любви Афродите!

Я видел Афину и Геру,
И кашу такую опять!..
Которую даже Гомеру
С трудом удалось расхлебать!..

Парис, походивший в героях,
Подался к Приаму под щит...
О Троя, великая Троя,
От страха теперь трепещи!..

КАССАНДРА

Ещё до войны, до зловещей осады,
До участи гибельной так повелось:
Не верил никто предсказаньям Кассандры,
А все, что она предсказала, сбылось...

Измазавшись пеплом и жертвенной кровью,
Прозрела она погребальный костёр:
Объятую плачем и пламенем Трою,
Поверженных братьев, пленённых сестёр...

Но вызвала в городе чувство досады...
Со стен Илиона летевшие вниз
Стенанья и крики вещавшей Кассандры
Слышал отплывающий в Спарту
Парис...

Уплыл, не взглянув на троянскую стену,
Совратничать!..
Ты же, Кассандра, казись
И тем, что Парис умыкает Елену,
И тем, что твои предсказанья сбылись!..

АНДРОМАХА

«О муж мой, не знающий страха! —
Сказала у Скейских ворот
Заплаканная Андромаха
Могучему Гектору,

пот

Отёрла со лба его

влажным

От слёз белоснежным платком, —
Бесстрашие губит отважных,
А ты с поредевшим полком,

Копьё потрясая десницей,
Бросаешься в бой

и в бою

Ты первый — и в пешем строю
И на боевой колеснице!

Погибнешь ты!
и за собой
Оставишь беспомощной Трою,
Меня – безутешной вдовою,
А сына – навек сиротой...

И нас и себя пощади:
Укройся за стенами! Сжался
Над крошечным Астианаксом
И надо мной!

Погляди,

Как яростно грозные греки
Теснят илионских мужей!..»
Ответил ей ласково Гектор:
«Жена моя, солнце уже

Склоняется к западу...

Мне

Скрываться за стенами Трои
Позорно. Стоять в стороне –
Постыдно. Что скажут герои?..

Хотя и недолог мой век,
Иной я измучился болью:
Я вижу, как с сыном в неволю
Тебя торжествующий грек

Ведёт сквозь пылающий город...
В бессилии волосы рву...
Нет, лучше погибнуть, чем горе
Увидеть таким наяву!..

И всё-таки не убивайся
По мне непрерывно, жена!
За сыном смотри. Постарайся
Забыться в заботах».

Она

Ему улыбнулась...

«В заботах...»

А Гектор блистающий шлем
Надел, не спеша, между тем
И двинулся к Скейским воротам,

Туда, где от крови и праха
Вздывается каждая пядь...
Глядит ему вслед Андромаха
И слёзы не может унять...

ГЕКТОР

О Гектор, стоящий у Скейских ворот!
Скорее укройся за стенами Трои...
Надежда Гекубы, Приама оплот,
В Скамандре, как голуби, гибнут герои

Троянские!..

Богopodobный Ахилл
Их рубит и губит в реке за Патрокла...
Он полон, как бог, нерастраченных сил.
Смотри как броня его кровью намокла!

Теперь он тебя, шлемоблещущий Гектор,
На поле сражения ищет, как лев
Добычу.

Герой, величайший из греков,
Поклялся Патроклу,
печаль одолев,

Отдать твоё тело на растерзанье
Своим мирмидонским неистовым псам...
... Укройся!

Тебя умоляют Приам
С Гекубой.

Ни плач, ни мольба, ни стенанья

Не трогают Гектора грозного.

Он

Дождётся врага под надвратною башней!..
Как буря, на битву летит Пелейон
По водам Скамандра, по трупам, по пашне!...

... Заносит копьё Пелейон для броска!..
Слетает на Землю богиня Тоска...
Со свистом летит роковое копьё...
От ужаса замерло сердце моё!..

ПРИАМ

В полночь вошёл он в шатёр Ахиллеса...
... В сопровождении бога Гермеса

Быстро достиг мирмидонского стана
Старый Приам. Беспробудно охрана

В стане спала. Объявившись из тени,
Перед Ахиллом упал на колени

Бедный Приам, и с мольбою горячей
Он обратился, стеною и плача,

К богоподобному сыну Пелея:
«О, Ахиллес богоравный, болея

Нежной душой об отце своём, сжался
И надо мной стариком. Опечалься

Горем моим. Одинокого старца
Выслушай! В этот же час, может статься,

Город отца твоего осадили
Рати соседей,.. а он обессилен:

Рядом ни сына, ни друга, ни брата...
Я же несчастнее тысячекратно:

Всех сыновей потерял я под Троей!
Даже опору троянцев, героя —

Гектора ты, беспощадный копейщик,
Утром убил. Надругался зловеще,

Местью пылая, над раненым телом...
Сердце моё, Ахиллес, онемело

От нестерпимой, немыслимой муки:
Я принуждён целовать твои руки —

Руки убийцы детей моих бедных!..
... Завтра тебя ожидают победы,

Нынче же пусть покоряется сила
Разуму... Выдай мне мёртвого сына!

Вспомнил Ахилл об отце своём старом,
Вспомнил о павшем Патрокле, и стало

Горько ему, зарыдал он, не прячась...
А насладившись врачующим плачем,

Поднял Приама Ахилл и утешил,
Давши друзьям приказание спешно

Тело любимого сына Приама
Тёплой водою обмыть и без срама,

В плащ завернув, отнести на повозку.
... Взявши подсвечник, закапанный воском,

Он на покрытое шкурами ложе
Спать уложил старика, не тревожа

Сердца его, изнурённого горем,
Более... Долго полуночным морем

Брёл Ахиллес, под мерцающим светом
Брёл, сокрушаясь, что Высшим Советом

Он обречён на страдания сам...
Брёл, поражаясь, как плачет Приам,

Как у ворот мирмидонского сектора
Смерть шелестит отрешенно: «Омега...»
Как, удаляясь, тоскует телега
В поле с останками бренными Гектора...

* * *

Сколько отваги и риска!..
Только причины не скроешь:
Из-за повесы Париса
Пала прекрасная Троя.

Плыли над пеплом и прахом
Жуткие крики Кассандры...
Гектор. Приам. Андромаха.
Ужас кровавой «осанны»!..

Город, поставленный на кон,
Мальчик, молящий о жизни,
Брачное ложе на тризне —
Нас потрясают!

Однако

В сумерках мы замечаем,
Как из любовного плена
Едет царица Елена
Вместе с царём Менелаем...

ЯЗВИТЕЛЬНЫЕ ЯМБЫ

Не закрываешь рот с утра до полуночи:
Орёшь, визжишь, шипишь, попреками изводишь!
Зануда, твой язык, раздвоенный с рожденья,
В сто раз длинней ума, а ум — косы короче.

О, если б Зевс на миг их поменял местами,
И ты перенеслась в тот самый миг назад
Всего на двадцать семь (не дней, о нет!) столетий
И не куда-нибудь — на древний остров Парос,
Ты проглотила б свой язык змееподобный
И потом изошла, едва услышав

как

Великий Архилох позорит Необулу,
Клянёт её отца — двуличного Ликамба.

Не забывай, что я — поэт (и не последний):
Об участи своей подумай, наконец!

ИРОНИЧЕСКИЕ ЯМБЫ

Что это: козни бестий иль случая подвох?..
Щиты на поле брани Алкей и Архилох

Бросают оба, бегством спасаются они...
Позорит их преданье, чернит за эти дни.

Вопрос ребром поставлен, осмеян смертный грех!
Как я теперь прославлю тебя, античный грек?

Как проведу я прессу (о жизнь моя — тщета!),
Как закажу Гермесу два золотых щита?

Скажи хоть ты, Селена, где выход и какой?
Пойти ли по Вселенной с протянутой рукой?

Или бродить бессонно (как голова трещит!)
По каменистым склонам, разыскивая щит?

Купить? Но в кружке медной остался (не пропьёшь!)
Тот ломаный бессмертный презренный медный грош.

Таскаюсь по откосам (хочу смертельно спать!),
А мысль моя без спроса летит стрелой вспять:

Хорошие ребята, поэты — первый класс!
И вдруг — такие пятна чернильные на вас...

Спущу корабль на воду, а может быть, — доску
И вырвусь на свободу, и разгону тоску!

Весь мир объеду, всюду уйму переполох,
А вам щиты добуду,
Алкей и Архилох!

ЛЮБОВНЫЕ ЯМБЫ

Что он сказал в альтанке
Двусмысленной строфой
Прекрасной лесбиянке,
Божественной Сапфо?..

Не царь, не повелитель,
Не раб и не лакей,
А признанный воитель —
Прославленный Алкей!

А что ему в беседке
Ответила она,
Кто вспомнит:
ястреб в клетке?
Ревнивая жена?..

Их слава крепче кремня,
 Но даже их слова
 Перемололо Время
 На жадных жерновах...

Воображение — пытка,
 Безжалостный жокей!..
 Сапфо стоит со свитком
 И с лирою Алкей...

В венке степных фиалок
 С улыбкой неземной,
 Откинув полушалок,
 Она следит за мной...

Браслеты на запястьях,
 Жемчужины в ушах...
 До призрачного счастья
 Остался только шаг...

Сомкнутся ль наши руки
 В столетии глухом?..
 Иль я умру от муки
 У ног твоих, Сапфо?..

СКОРБНЫЕ ЯМБЫ

Итак: И така!

Пенелопа

Живёт соломенной вдовой
 Двадцатый год.

И за собой

Вины не знает...

Пьяным скопом

Дом осаждают женихи,
 Дабы руки её добиться.
 Она могла бы покориться
 Их воле. Да страшат грехи

Перед пропавшим Одиссеем,
 Перед Афиной и людьми.
 О, если б кто-нибудь рассеял
 Её сомненья хоть на миг!..

Легко вползает в сердце уж
Ненаказуемой измены,
Когда пропал без вести муж
И услаждают слух сирены!..

Но ни сомнения, ни страх
Её не склонят перед силой,..
Покуда юный Телемах
На корабле спешит на Пилос.

Покуда сын, не скрыв лица,
Летит на колеснице в Спарту,
Поставив жизнь свою на карту
За попорченную честь отца...

Пока не ступит Одиссей,
Целуя берег, на Итаку...
... Он, равный хитростью лисе,
Не сразу бросится в атаку

На обнаглевших женихов,
А своего дождётся часа,
И рядом с горкой их грехов
Он наворотит горы мяса!..

... Стрелую, пущенной из Трои,
Пробил он, словно сердце, мир...
И во дворце кровавый пир
Гостям-грабителям устроил...

Уже пора кричать «ура!»,
На эту бойню глядя тупо:
В сенях, под стенкой, до утра
Он спрятал сто шестнадцать трупов!..

Однако это не конец,
Ещё не время для объятий:
Царь Одиссей велел дворец
Отмыть от крови и проклятий...

Исполнят в точности приказ
Рабыни, преданные слуги:
До появления супруги
Они успеют в самый раз...

Ей, спавшей, веки зов расклеит.
Она сойдёт в банкетный зал,
Не веря вести Евриклеи
И даже собственным глазам!..

Там серный дым её встречает
И Одиссей!!!

Но что за вид?!

Она его едва узнает
В лохмотьях нищего, в крови...

И назовёт он «непонятной»
Свою жену — пример живой
И верности невероятной
И сдержанности роковой...

... Когда затихнет смертный стон
И во дворце и над Европой,
Он смоем кровь и выйдет вон
Из зала
с верной Пенелопой...

И ни раскаяньем, ни болью
Нам не послужит их пример:
«Они утешатся любовью», —
Сказал Гомер.

АСПАЗИЯ

И здесь, на краю света,
На родине папоротника, лимонника и женьшеня,
Ты рядом со мной, жрица любви и обольщения,
Гетера из Милета!..

Сбросив века, как парик,
Ты смотришь лукаво через плечо и цедишь:
«Ски-та-лец,
Да, я чужачка,.. а сонму свободных афинских красавиц
Меня предпочёл Перикл!

Без подозрений и ссор
Любил и лелеял, и до небес возносил стократно,
Знают об этом все: от пифии до Сократа,
Свидетель Анаксагор...

И ты повторять привык
Под музыку речи и родины (Малая Азия!..)
Два имени наших Перикл и Аспазия,
Аспазия и Перикл!..»

Ослепительней снега
Сибирского твоя красота, Аспазия-Афродита, —
Судьба архонта, стратега, героя и эрудита,
Альфа его
и его омега...

* * *

Безжалостно предзимний сизый ветер
На север гонит жёлтую листву
По площадям и улицам пустынным...
Так изгонял, наверно, император
Опального Овидия
из Рима...

Лишив его столичного оплота,
Позволил взять в дорогу только плащ,
Сандалии, стило, полсотни свитков...
... Чужбина. Жизнь, казавшаяся пыткой.
Сарматы... Готы... Поминальный плач
Норд-оста с замерзающего Понта
Эвксинского... И солнца алый мяч!..

ВАЛЕРИЮ КАТУЛЛУ

По ее вине иссушилось сердце...
Катулл

Друг мой, брат мой Катулл!
На берегу Днепра
Я услышал твой крик — стон твой,
Прозвучавший
две тысячи тридцать
Шесть лет назад
На берегу Тибра:

«Плохо стало Катуллу, Корнифиций,
Плохо, небом клянусь, и тяжело стало,

Что ни день, что ни час — то хуже, хуже...
Но утешил ли ты его хоть словом?»

Чем утешить тебя, Катулл,
Брат мой названный?

Чем утешить
Две тысячи тридцать шесть лет спустя?
«Лесбию, что была Катуллу
И себя самого и всех милее»,
Я не в силах вернуть тебе.

Скажу в утешение только «два словечка
Грустных, как слёзы Симонида»:
За столом у царя Аида
Только славой твоей посмертной,
Только славой твоей бессмертной
Я утешу тебя, Катулл!

* * *

Древняя Греция... Древняя Русь...
Каюсь — сказал государственным совам:
«Порознь люблю их!»

А нынче страшусь
Разъединить их нечаянным словом...

... Греция, в храмах твоих и в хлеву
Был я и знал тебя доброй и злою,
И ухожу, посыпая главу
Мифологической тёплой золою...

Как упомянутый всуе дельфин,
Одолевая просторы морские,
Через века из античных Афин
Я возвращаюсь в языческий Киев...

... Князь, разузнавший про всё наперёд,
Вынес на берег, Бояна встречая,
В кованой братине — липовый мёд,
В чаше литой — молоко молочая...

Александр ГУТОРОВ

ВОЙНА НЕ МАТЬ РОДНА*

Наши постояльцы-солдаты продолжали рыть и обустраивать свои бесконечные, чертенные, окопы и оплетать их хворостом, чтобы не сыпалась вкрай и в спешке оттаивающая земля. Никаких стрельб не полагалось до окончания саперных работ.

— Весенняя грязь солдатам не помеха. Чепуха, — просвещал их Конопатый политрук. По его мнению, солдат вообще не человек, а некий более совершенный, чем топор, инструмент.

— У нас свой Тупор, — подшучивали постояльцы.

Я уже наслаждался приходом весны и норовил залезть в первую попавшуюся лужу, чтобы выразить свой восторг по сему поводу. Воробьи, которых так было жалко зимой, теперь уже норовили выкупаться и поплескаться в воде! Ну, не бусарята?

— Присмотреть за ними некому. Маленькие — простудятся же, дурачки, — здраво рассуждал и я, слегка завидуя их глупой свободе.

...И вот однажды облачным, но уже теплым днем по селу пробежали какие-то «не наши» гонцы-красноармейцы, расторопные и вертлявые, как всякая прислуга, но в довольно крупных для поваров и конюхов майорских чинах и почему-то бросили якорь в нашей хате, оставив на лавке какие-то свои «лишние вещи» — планшетки. Это означало — положили на хату «глаз», но с кем-то вроде Конопатого им надо было еще потолковать — хотя бы для порядка. А того вызвали в Завидовку.

Хотя в нашей приплясывающей и разъезжающей от старости хате под соломой ничего такого и не было необыкновенного, наоборот, сплошные неудобства —

В 2013 году исполняется 70 лет Курской битве, ставшей переломным сражением в войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В книге «Война не мать родна» автор от лица пятилетнего мальчика рассказывает о жителях деревни, оказавшихся волею судьбы в эпицентре битвы, о «гражданской», так сказать, составляющей будней войны. В предлагаемой читателю главе «Совещание в верхах» речь идет о подготовке к сражению.

орущий маленький ребенок, подвешенный на крючке к потолку своей «матросской люлькой», как ее тут уже окрестили. Ему, оруну-профессионалу, — даже настоящее крещение не помогло, такой уж атеист и анчихрист от рождения.

— Что им, таким-то высоким чинам, тут у нас делать? — гадали домочадцы.

И все же «гонцы» нашли нашу хатенку самой чистой из всех среди обследованного ими околотка и начали какой-то улыбочиво-заискивающий разговор с моей больше других понимающей и повеселевшей в последнее время мамой. Красуля-то жива!

— Вот вы городская, культурная женщина, сразу видно ваше влияние в доме, не могли бы вы приготовить небольшой обед — персон эдак на 12, продукты мы доставим, не беспокойтесь, нам тут надо будет поработать над картой...

— Вы преувеличиваете мое место в здешнем «штатном расписании», — пошутила мама.

— Спросили б у хозяйки, я невестка, муж на фронте, сама тут на птичьих правах. Вроде бы в эвакуации — вдали от сражений.

— Понятно. Свекровь ваша согласна — как человек патриотически настроенный, сразу видно, и ее тут хорошо характеризует местное начальство. У нас есть сведения, — и напарник адъютанта вынул такой же затрепанный блокнотик, как у Конопатого, заправленный все же в какой-то немецкий слюдяной бумажник. — Два сына на фронте, один красный командир с первого дня войны. С ними всё в порядке, не беспокойтесь. О муже есть сведения? — он путал в своей старательности сыновей и мужей напропалую, даже покойный отец мамы все еще воевал, и даже сосредоточившись, не закрывал рот с редкими — раздвинутыми передними зубами (что говорило о склонности к трепу), к тому же один из них увенчан большой золотой коронкой. Это прямо выпирающая фикса — с политическим оттенком! Не каждому такое украшение по средствам. Ему и прилепили прозвище — Фикса.

— Какие уж тут сведения? — один Бог знает. Одни слухи. Люди вон уже получили письма, а от нашего никакой весточки, — вставила, наконец, слово и бабушка, надеясь, видно, на помощь самоуверенных гостей в этом важном для нее вопросе. — Правда, иной раз от вестей тех-то выть хочется, да што исделаешь? Такая наша бабья судьбина.

— Это ничего. Лишь бы не похоронка, знаете, какое теперь время.

— Знаю. Делайте, как знаете, — сказала бабушка и, смахнув слезу, вышла в сенцы, вспомнив какие-то свои унижения и обиды — то ли от наших колхозных заправил, то ли от немцев с полицаями. А тут еще тебя и спрашивают — большая честь! Но свои-то, хоть, может, и бусари, даже партейцы, а все же родней и ближе, чем немцы с теми-то деревенскими шлюхами — женами полицейских. Хорошо, что в хате не оказалось Анюты с существенно иной характеристикой начальства.

Красуля на этот раз в самом деле вымя «отбила» — без дури, вот-вот опрастается. А им тут, офицерам, видать, гульбище приспичило «организовывать». Так подумалось поначалу. Бабушка, хотя не была идеально советской (а кто тут таким был — активисты?), то уж никак не антисоветской. Она просто была христоролюбивой русской женщиной и твердо знала, что без мирских захребетников ни при какой власти не обойтись. Все дело — в размерах грабежа или принуждения. И малый грабеж ее вполне устраивал. На нем держалась Русь испокон веков.

...Мама моя согласилась приготовить заливную рыбу и жаркое, только если, конечно, подбросят продукты. В Пенке теперь такую рыбу не выловишь. Да и с дровами у нас опять туговато — напряженка. С постояльцами кое-как бы перебились, а с большим офицерским начальством — как его ублажишь, ежели дрова нужны настоящие, крепкие? А не дымящий сырой и капризный раkitник...

— Чепуха, подбросим, сами напилим и наколем, мы же мужики! Не переживайте. Надо в рогожку вывернуться, поймите нас правильно, — затараторил хитрый и редкозубый офицер с коронкой, чем-то, видно, похожий на старого денщика николаевских времен, всегда готового расстараться и кому-то услужить, не забывая о своей выгоде. Недаром — Фикса.

На вид он вроде бы и пожилой, но совсем не мешковатый, а бравый, будто из кремлевских курсантов. И деловой, как дьявол. Все на лету схватывает, только курит нещадно. От волнения. И сверкает своей не стареющей фиксой, как спичкой в темноте. Очевидно, он успел помотаться по селу собрать сведения о нашей семье. С такой ухваткой — делать нечего!

Сведения оказались подходящими — решил Фикса. А солдат запряжем!

Хату, и без того регулярно «поновляемую», начали заново марафетить, хотя мама и раньше учила молодых девок поддерживать чистоту такой, какой она была здесь при

Паше. А Пашу тут почитали. Усилия тех первых недель не пропали даром, но жилище все же было изрядно запущено. Не до него, если корову грозят вывести или отца арестовать! Да и младенец орет под потолком не своим матом.

Пропавшая без вести Паша превращалась в домашнюю святую. И многое делалось в ее память. У нас, к примеру, не было клопов, практически даже тараканов. Редко какой кривой заморыш робко пробежит по земли между лавками. Одинокий и невзрачно горбатенький сверчок как-то чудом ухитрялся выживать в условиях губительной для него карболочно-хлорной гигиены. Его давно окрестили с легкой руки бабушки — Родимчик. Это уж Верочка постаралась, чтоб не забыли прозвище. Родимчик, в ее вариации, среди ночи развлекал всех своими песнями. Часов у нас по-прежнему не было. Музыка — тоже. Да и где их взять? Бабушке сверчок служил немалым подспорьем и даже утехой. Сверчка этого я знал персонально. Даже как-то немного поиграл с ним осторожно, чтоб ненароком не придушить. Более мерзкого калеки-инвалида, чем это житель теплушки, трудно было представить. Хотел его даже поначалу выкинуть, но бабушка объяснила, что это вот и есть наш хранитель очага — Родимец-Родимчик. Такой себе невзрачный доходяга! Мне-то думалось, что его и приютили как калеку из жалости, как Агеевского шпака. Не мог даже предположить, что у него вся заводина — порода вся такая! А он, видно, еще и отец своего семейства!

Залепанная изрядно земь вновь, с приходом наших, регулярно в конце недели подмазывалась и долго благоухала свежим коровяком, а стены белились, после чего тоже остро и долго пахивали мокрым мелом. Работа требовала изрядной ловкости — надо было лихим и одновременно мягким «волоком» щетки затянуть едва заметную дыру в побелке — облупившуюся «шпаруну». Если учесть, что ни хозяйственного мыла, ни столярного клея тогда в меловой раствор не подмешивали (дорого!), то тут требовалось немалое мастерство. Словом, дешевый женский труд имел уйму своих секретов. Мне нравилось, как тетки лихо «хвеськают» своими туго связанными щетками и как их лица покрываются белыми пятнами, величиной с горошину или редко — куриное яйцо.

Девки, поссорившись, а чаще — для смеху, кропили друг дружку этими щетками, что меня уже приводило в неописуемый восторг и позволяло запустить в них под суматоху какую-нибудь вещицу с печи. Сражались чаще всего Машка и Варюшка, не поделив меж собою те же щетки

или свои драгоценные «вёдры», заляпанные под Марусин поясок. Я тоже включался в эту озорную игру, швырял под суматоху в дерущихся теток то валенок, то лапоть с печи.

Ведь штукатурицы наши — молодые, и девичье-бабья дурь играла в них еще всю и властно требовала своего выхода... Особенно — как немцы ретировались и весна была на носу. А с нею нормальная жизнь. Однажды мне чуть не влетело на орехи — попал в ведро с мелом забытым на печи отцовским ботинком и выплеснул изрядную часть белесой жидкости. Нечаянно, конечно. Варюшка, было, и меня «выкрестила» своей щеткой. Но Маша-тетя запротестовала, смеясь. Знали, что и я, притаившийся как сверчок на печи, их не выдам ни бабушке, ни тетке Анюте, ни своей маме. Дотолкли мелу — и порядок... А земь потом подмажут — и концы в воду. Чего ей станется? Пышущая жаром печка, как насос, втягивала в себя сырость и выпускала ее витиевато закрученными кольцами дымом куда-то в небо через оплетеную трубу. Дымок очага соломенно-серой после побелки хаты для меня куда приятнее, чем «спаленной жниввы». Не любил я лишь запаха неизбывной мокрени и сырости после побелки. А кто ее возлюбит? Это как постоянный ремонт на раковском жизненном пути.

Обычно на второй день вдруг обнаруживал: стены ослепляют своей белизной, как накрохмаленная скатерть или рубаха, изба наша — как новенькая, хотя в раствор же не подмешивали тогда никакого зубного порошка — где его взять?

Крестьянская вековая гигиена. Только надо ее то и дело поддерживать. Частые побелки и поновки, видно, не только угробили клопов, затаившихся в щелях, но и более хитрых, как мне казалось, всяких жучков и паучков. Потому и «выделили» наше жилище на фоне других как образцовое. Ого! Неслабо? Немалая честь!

И дело-то непростое.

Изрядно скособоченная просторная хата под старой подгнившей в пучках соломой оказалась все же лучшей в своем «порядке» или даже во всем селе. К тому же выглядела она, может, серой и не очень заметной — ничем не выделялась «с воздуха». Поди ее разгляди! Гости должны быть знатными. И это для них и для нас важно! Те еще картографы!

Выставив из хаты такую хлопотную публику, как мама и Витечка, наши домочадцы в тот день старались всю.

Подготовка к приему шла полным ходом и по высшему разряду. Даже белье приказано было уже мамой выварить и

перестирать в речке — выполоскать, вроде картографы-топографисты, как их нам пока представили, приедут его инспектировать... в первую очередь на предмет вредных насекомых. И будет неудобно. Но рушнички-то — «шириночки» должны быть чистыми, — тут распоряжения поступали не от одной бабушки, но и от моей не в меру чистоплотной мамы. Она вдруг возродилась со своим неумным энтузиазмом и — моталась, что-то делала, организовывала с невероятным рвением. Даже по кухне теперь была самой старшей, оттесняя бабулю. Мама даже приказала песком перетереть все кастрюли и наши алюминиевые тарелки, чтобы не быть такими некультурными, как немцы, что, выстирав носки, замешивают тесто в том же тазу, как говорила одна из меняльщиц. Не освоив тонкости печи, мама умела хлопотать у грубы, что было привычно. И тут ей в Раково не было равных. Свое «жаркое» из овощей она готовила на грубе. Так называли девки рагу.

— Зателепкать борщ, али жаркое, тебе, Лексевна, ничего не стоит, ты же не какая-нибудь хуторская растрепастелепа, — отпускала свой могучий железобетонный комплимент тетушка Анюта. И не без белой зависти, что грело душу маме и мне. Анюта сурьезно изучала дело.

— Наши раковские бабы — дуры от природы, ежли хочешь знать. Тут и раскулаченные готовить ни кобеля не вмели. Не то, что мы. За что их ободрали до костей — я просто удивляюсь! — У Анны не спросили...

Тетки меня нарочно поддразнивали, особенно Верочка:

— Гляди, сам Сталин в метровых погонах, таких-то во, — явится в гости с Жуковым и подорит тебе игрушечный паровоз — требуй! Гляди ж. Не дай маху, — убеждала, смеясь, Верочка. — А то война скоро кончится, тогда уж суды век приличные люди не заявятся, хвост подымут, до конца жизни будешь жалеть. А такое чудо раз на веку случается. «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка, другого не у нас пути, в руках у нас винтовка!». Ля-ля-ля — тра-ля-ля!

— Тра-та-та! — подпевал ей и я, изображая пулемет.

... Почему-то девки сразу не поверили в набег каких-то прибитых картографов, а вмиг заговорили о полководцах, — это плод их глупой фантазии или «вредительские слухи»? Потому, что кто б это надумал снимать хату для жалких картографов, по мнению мамы, и кормить их, как на убой? Это ж низшего сорта армейская забитая интеллигенция. А она должна быть нищей.

Кто такой Сталин — я уже как-то знал, а Жуков был мне

еще неизвестен, может, одному на свете? Но Иван Горбунок, а он на три года старше, тоже ни шиша не петрал «в политике». И он не знал, толком, кто такой Жуков, зато знал Троцкого и Молотова — по названию нашего колхоза! Я понимал — меня с паровозом дурачат — это заметно было по игривым интонациям теток. Но перспектива дожидаться самых важных гостей в своей хате, посидеть и покалякать с ними, показать свои способности — меня очень грела и занимала. Все ж таки какая-то перемена в жизни! Правда, не все были рады будущим гостям. Солдаты-постояльцы ворчали, что ничем хорошим это не пахнет.

— Напрасно, вы, Лексевна, согласились, — сказал ярославец, нажимая на «о». Всякая кривая короче всякой прямой, если она не лежит перед глазами начальства.

Мама беспомощно разводила руками. Не хотелось, мол, подводить свекровь, она кое-что хотела выведать о пропавшем без вести сыне, моем муже. Ее они сразу уболтали.

...Была, наверно, первая декада апреля. Холодный морозящий дождь отодвинул приближение радостной и поддоброму влажной весны. Да и апрель в этих местах не такой, как в Харькове, на Украине. Пожестче маленько. Повсюду талая вода и непролазная грязь — тележные колеса увязают в земляной тугой смоле. А мне, как тому прощелыгеворобыю, хотелось бы побольше луж — почему-то их обожал и получал от них несказанное удовольствие.

— Сказывается раковская поросычья натура, — поругивала меня беззлобно мама.

— Уж этот не будет белоручкой — изгвазданный, как чертенок, — соглашалась и Верочка — лезет, куда голова не лезет. Что значит живая вода!

А что гости важные — об том говорило многое. На нашем дворе — между сараев и в палисаднике, начали ни с того, ни с сего устанавливать какие-то смешные пушки — с длинными, как у противотанковых старых ружей, дулами и узкими стволами. Возле них хлопотали тощие артиллеристы, отчаянно драя стволы и маскируя их тут же соломой, всяким тряпьем-ветошью, особенно старыми ветками.

— Зачем — думалось, — тогда драить и чистить весь этот зеленый лом? Уважить картографам?

... Шикарных дров подбросили на машине — уже напиленных и наколотых — дубовых, березовых — целый воз. Не меньше. Да и не только дров — каких-то длиннющих веток, охапки густящих елок, чтобы надежнее «прикрыть» — замаскировать орудийные стволы, навязав на них пучки

лохматых веток. Казалось, тут бы мне загородить шалаш-халабуду, но ее вскоре построят сами военные, где и будут ночевать по такому случаю. А мне-то — на руку! Еще как! Вот где разгуляюсь, если гости уедут! Мы тоже готовились к встрече. Но с нами никто не собирался встречаться, особенно со мной.

За день до события — точная дата его не называлась — нам приказали вдруг освободить полностью помещение. Вот те на! Хорош подарочек! Нас и наших постояльцев переместили, то бишь «перетасовали», в хату к изрядно обедневшей уже, ограбленной перед уходом немцами бабе Доне — жене бывшего «преда» Прокофия Семеновича, погибшего-таки с колхозным скотом на Дону. Теперь у огрядной и солидной раковской вдовы была на руках и официальная бумага. И бабе Доне, как женщине, особенно сознательной и уж явно советской, бойцы оказывали соответствующий почет, — подбрасывая на постой еще одно семейство. А вот хату ее забраковали. Наше ж жилище признали, видно, наименее антисанитарным и подходящим, что ее никак не приводило в восторг, а заставляло усиленно чертыхаться. Ей же опять приходилось тесниться. Такая вот честь!

На своей печке мне в последнюю ночь никак, видать, не удастся устроиться. Не разрешили чужие люди. И я никак не мог сыграть в этой войне роль простоватой толстовской девочки Малашки на военном совете в Филях, глуповато разглядывающей дивного кривого дядьку Кутузова и генерала — красавца Милорадовича. Это несказанно утепляло повествование Толстого, но не буду врать. Хату нашу сперва выхолодили, чтобы, упаси Бог, какие приبلудные тараканы не помешали «картографам» совещаться и не передали кому-то информацию своими хитиновыми крылышками и особенно — усиками антенн — по азбуке Морзе. Не иначе. Они такие вредные, что всякий марафет, даже лишний, им не помешает... А как же сверчок? — не захолодят, не заморозят ли калеку Родимчика? Это меня больше сейчас волновало, чем совещание, в пользу коего я уже стал сомневаться... Так можно навеки и без певца остаться. Совсем скучно будет. Всем домочадцам.

Зато мы с братцем снова узнали, что такое настоящие деревенские клопы! О бабе Доне наши были почти такого же мнения, как и картографы. Она хату свою занехаяла, завела зверинец. А что поделаешь при таких «перживаньях», кто их «снесет»? Была уже не просто «кем», а почти всем, теперь стала бедная баба — ничем. Но зато всякой

непрощенной живности в ее хате было с избытком. Всякая тварь к теплу прибивается.

— Чужая вошь не укусит, своя не дойма, — была тут в ходу такая развеселая раковская поговорочка. И она теперь действовала на всю катушку. Эти чужие разбойники, насекомые, наслаждались нашей кровушкой и мягкой кожей, особенно братовой. Я уже малость огрубел к тому времени. И клопов не боялся. Меня лишь покусывали, но не грызли поедом.

Ощутив присутствие нового человека, — необычайно вкусного для них розового ребеночка в облике братца Витечки, красные разбойники «поповылезли» из всех своих укрытий — «шпаруд» и набросились на новых жильцов, как голодные собаки. Братца, подвешенного в люльке за чудом сохранившийся с незапамятных времен крюк (своих, то есть живых детей у бабы Дони не было), терзали особенно смачно, пробравшись по потолку, как разведчики-пластуны, а оттуда — срывающиеся дьяволы сыпались, как парашютисты. Раньше на крюку висел лук. Его сняли.

Один из отважных и наглых кровососов, видно, тоже спикировавший сверху, как вражеский десантник-парашютист, умудрился грызнуть братца за щеку. Можно представить, как неистово орал мой братец и какой утром вылупился «гузырь» на его нежной и румяно-вредной щечке. А маме в тот день уж вовсе не до него — она занималась важными «государственными» делами.

— Это же как зажигательная смесь или бензин октановый высокой пробы, — шутили еще наши бойцы-постояльцы, привыкавшие с трудом к моему братцу. Их тоже переселили вместе с нами, чтоб не скучно было. Но тут братец — от перемены климата и обстановки — орал в два раза громче и дольше обычного... Да и тесновато, душновато в новой хате. У бабы Дони еще и свои красноармейцы на постое. Не даст никому отдохнуть окаянный младенец! И сама хозяйка таким почтенным гостям, как мы, и перетасовкам не очень рада. Но молчит — сопит в тряпочку. Черт их дери, — с этими картографами! Ишшо одна морока! Постояльцы бабы Дони тоже отчаянно чертыхались даже во сне. У неё самой — война, одиночество, безрадостное вдовство. А характер — еще тот, но терпела, искусывая до крови губы. Выгнулось бабенке за свои или мужнины грехи — поди знай... Да и мужа-то самого война слизала, как щепотку соли коровьим языком. А его то считали немцы главным столпом и организатором советского режима на селе, потому и грабили вдову с садистским наслаждением в последние месяцы.

Культура!

С утра мы все ждали исторического события. Печь в нашей хате теперь натоплена до одури дубовыми дровами, разрубленными на увесистые пахучие еще поленья. Мама, успевшая на ночь приготовить заливную рыбу, возилась с жарким и еще с какими-то неведомыми городскими изысканными блюдами, кои могло съест и оценить только высокое начальство — «картографы». К примеру, домашним украинским борщом. Блюда «достигали» на плите — топили разом с печью и грубку, — непростительная роскошь по тем временам. Мама не очень еще могла совладать с печью. Потому отец, будто зная и предвидя что-то, пристроил к главному очагу какую-то времянку, названную неуважительно «грубой». Но она оказалась нужной. Чего подогреть, вскипятить на скорую руку. Удобно и экономно! Не называть же её голландкой, хотя по всем признакам груба и походила на петровских времен печную диковинку, но в сельском раковском варианте именовалась всего лишь «грубой». В грубом исполнении, пожалуй.

А вот продукты из русской печи — все же вкуснее и поджаристее. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Бабушка пыталась помочь, топила свою печь так, чтоб дыму не было в хате, тут у нее свои заморочки и хитрости, — нельзя позволить невестке ударить лицом в грязь перед гостями. Бабушка по запаху чужла и готовность блюд, да вот блюда, в том числе и украинский мировой борщ, были ей почти незнакомы. Хоть плачь! Когда он «достигнет»? У мамы были помощники — солдаты. И хмурый Тупор орудовал ухватом — рогачом не хуже, чем винтовкой. Он один тут понимал вкус в украинских борщах и «коклетях», имел представление об «людских» полтавских «стравах». На родине у него — трое младших братьев и сестра, а родители горбачили в колхозе с утра до ночи. И Тупор юношей кормил детишек, доил корову, словом «порался» по хозяйству. Теперь он попал в подчиненные, чем не очень и тяготился. Ему не привыкать. Солдат на постое кормили в лучшем случае щами. Да и борщ, если случался, то кондер-брандахлыст из замурзанного чана полевой подвижной кухни — с требухой. Не иначе. А Тупору самому страсть как хотелось попробовать настоящего, полтавского борща, пусть даже без сала и пышек с чесноком. Родину вспомнить.

Из нашей хаты доносились немислимо вкусные запахи. И я на правах малого хозяина пытался проникнуть к своим, занятым у печи родичам и солдатам. Там давала беспрестанно необходимые консультации по кочегарно-

печной части бабушка Домна Филипповна, потому, что на «чужой печи» не так просто что-нибудь «содбать» и не каждому дано знать ее привередливый характер. Приноровиться надо. Такое не каждому дано. Мало ли чего она выкинет! Это тебе не голландская груба! Тут и бедный наш Тупор (его одного из наших постояльцев допустили к священнодействию) был бы бессилён. Голландская же груба-«труба» тоже не томилась без дела — полыхала вовсю. Словом, кулинарный процесс шел своим чередом. Поначалу мне удавалось в лучшем случае лишь «понюхать» барскую вкуснятину.

Девки и чужие солдаты-ординарцы таскали воду, капусту, моченые огурцы, даже откуда-то яблоки с матовыми припущенными щечками — не в полицейских ли погребках нащупанные? — Достали. Но входили служилые не дальше сенцев... Всё тут предназначалось каким-то чужим важным дядям, с чем надо было по-философски горько смириться. Такова взрослая жизнь! Не солдатикам и не мне готовились редкие продукты, хотя я тут и считался вроде бы любимцем публики, путавшимся под ногами и никак не помогавшим печному колдовству. Вот она печь — неустанная домашняя кормилица! Работала ныне на полную мочь! Я же больше мешал. Но не мог даже представить, что меня вдруг выставят из собственной хаты — этого уж никак от «своих» не ожидал.

Но вот уже будто всё почти готово. И я вышел на «перекур» с солдатиками.

Как только попытался прорваться потом назад в дедову хату, путь мне, полушутя, преградили, винтовками часовые, скрестив их перед моим носом.

— Нельзя, мальчик, понимаешь русский язык?! Сделай так, чтоб тебя искали. Сколько можно тебе объяснять? Ты что недоразвитый?

Такая их изошренная наглость меня шокировала. Кто тут хозяин? Готов был устроить скандал, но в ту минуту, вся мужская и женская раскрасневшаяся у печного устья, распаренная кухонная команда, смеясь, уже вывалила из хаты и, взяв меня за руку, потащила назад, не церемонясь, — к скучающей бабе Доне. Нужен я ей. Я брыкался и вырывался. Вырвался-таки. Роль дураковатой Малашки или хотя бы какой-нибудь страдалицы Мумалат, которую на руках держал сам Сталин, сыграть не удалось. А мог бы вписаться в Историю Великой войны. Но не до того, то есть не до меня.

Даже прохвосты — тараканы теперь не должны были присутствовать на важном совещании, не то, что я. Один

нахальный кот Васяка, учуяв хороший запах, не испугавшись часовых, прорвался-таки по-пластунски на свой наблюдательный чердачный пост. Его завернули один раз, но он выждал время, когда часовой расслабился, и пробился с разгону у него между ног, а потом рванул по освоенной им лестнице на чердак, где привычно боролся со своими вековыми врагами — мышами. Не будешь же ты открывать по этому поводу стрельбу в хате? Конечно, его привлекали мясные дурмящие запахи, а не надоевшие мыши, забивавшие рот своей дурно пахнувшей шерстью. Он искренне надеялся чего-нибудь тяпнуть — и получше. Но тут и Васяка оказался бессилен. Хотя он перехитрил часовых, но в хату его не допустили. А ему б надо было вертеться именно в хате. Кот надрывно выл от невыносимой обиды и несправедливости. Солдаты объясняли это мартовскими календами. А Васяка, лешак, орал, как резаный!

Я тоже скучал, но молча думая, — чем бы заняться? Тараканы, будь они разнеладны, у бабы Дони были славные — огромные, как навозные жуки, но вроде более ручные и дружески шевелящие усами, чем наши. Это вам не жалкие нахалы — прусаки! Непуганные. Они меня забавляли лишь отчасти. И я вскоре махнул на них рукой. Были дела поважнее.

Но я как стал, так и застыл на меже, — никакого забора или тына у нас с бабой Доней не было, а если раньше тут и торчал какой-то свой пузатый плетень, то давно пошел на тошку. Хозяйства наши сами по себе невольно объединились.

Я стал наблюдать за происходящим, раскрыв рот. День-то почти апрельский, теплый, пусть не совсем солнечный, скорее пасмурный: гремели всю грязноватые ручьи, вдрызг разбивая многострадальную сельскую дорогу, но она была вполне проезжей — из-за вековой утоптанности и какого-то мелового или известкового хряща, пробивавшегося из-под ее жестковатого чуть ли не панцирного-черепашьего покрова-полотна. Такова наша земля. Утоптана веками. И доисторические моллюски и земноводные позвоночные славно укрепили ее. Их натащали сюда прежние поколения раковцев, срезав бугры или крутые речные берега. Теперь это всё выпирает из-под земли твердыми катышками-голышами и хрустит под колесами телег и машин, как ореховая скорлупа. И так много веков подряд, чуть ли не до новых времен.

Меня поразили, конечно, машины — виллисы-бобики, эмки, и еще какие-то не «наши», поблескивающие лупастыми фарами и затвердевшим будто сапожным

кремом-лаком — слепящим даже без солнца глаза хромом... «Бобиков» (ГАЗ-67) я знал и раньше — они подвозили бойцам харчи и всякую хозяйственную мелочь. И их тут уже прозвали «козлами». Но таких лакированных и «разлыганных», по выражению тетки Аниоты, красавиц, как «эмки» или трофейные «дожи», со времен Харькова видеть мне не доводилось. Да и что я тогда понимал в технике? Какой у меня опыт? Не понимал я, конечно, чего мама называла наши «эмки» будто бы ласково «марусями». Я знал и чувствовал, когда она шутит или иронизирует. В чем же провинились эти красивые «маруси»? Гордость отечественного автопрома тридцатых годов. Иначе как партийное начальство отличишь от обычных людей?

Машина лихо тормозила во дворе, какой-то плотный и самоуверенный чин, распорядившийся жизнью и смертью тысяч бойцов, достойно выходил, как застоявшийся конь с красной толстой шеей, непроницаемой физиономией и тяжелым широким задом. Транспорт его тут же, вроде с перепугу, пшикнув газойлем, уматывал в сторону Шепелевки или Агеевки. Это заранее кем-то расписывалось и предусматривалось. Эдакий запланированный разъезд сразу после приезда!

Чин, кривясь в улыбке, свысока кивал моим противникам и нахам — часовым, те тянулись так, что козырьки фуражек и носы их едва не упирались в нашу почернелую от дождей стреху, цепляя сосульки. Чин по-хозяйски входил в дедову — Мишенькину хату. Иногда неохотно пригибаясь. Здоровячки. И высокие. Как на подбор. Питались в детстве, видать, неплохо. Куда там товарищу Бывалову — замухрышке и недоростку-недомерку.

Самое неприятное для меня — их полуметровые погоны, как говорила Верочка, оказались прикрыты плащ-накидками, то ли по случаю возможного дождя, то ли для маскировки. Так было положено по законам военного времени. Иначе бы ослепили золотом.

Мне едва удавалось, и то не всегда, узреть блеск позолоты орденов при входе очередного важного генерала или даже маршала в наши сенцы. И то, если он начинал сдергивать непромокающую и ненужную плащ-накидку у порога, швыряя ее в руку адъютанту. Да и там золота немного — не парадные же мундиры, а полевая форма. Хмурый день, наверно, как я теперь понимаю, был выбран не случайно. Такая вот обида. Да и что бы я в этом мог понять? Но погоны меня занимали, как елочные игрушки. Не более того. Новость. И свежие впечатления. Раньше они у нас были

запрещены! Теперь – это самые важные погоны в Красной Армии. Суета нынешняя – из-за них. Как же не разглядеть! Человек в таких погонах казался выше и недоступнее. А вот хмарь небесная мешала ему блеснуть. Как рассмотришь? Наденешь погоны – и ты уже не простой смертный. Всего-то делов.

Многие прославленные шпионы мира хотели бы присутствовать при таком важном событии-приезде, но увьи! – это не толстовские времена, повторяю, даже наглые насекомые, не говоря уж о теплокровных животных, не допускались живьем к военному симпозиуму... Лишь наглый Васяка, почуяв весну и сытую жратву, продолжал реветь не своим голосом с чердака от неслыханной обиды и несправедливости, привлекая внимание прибывших и вызывая их кривую улыбку. Во дворе пряно пахло отогревшимся навозом и еще чем-то незнакомым мне. Может, машинным маслом.

Что они там решили эти высокие чины? Оставалось только гадать, впрочем, скоро узнаем – испытаем на собственной шкуре. Говорили, над нашей хатой баражировали в тот день и «ястребки», но увлеченный своими наблюдениями за «золотопогонщиками» и чудными их машинами, я попросту самолетов не приметил. Опростоволосился! Не знал еще, что такое самолеты на самом деле, какое это тяжкое изобретение человечества в войну и для войны, хотя видеть их уже и доводилось. Узнаю позже. Нужно терпение. В нашем летнем гусятнике, пустующем за ненадобностью и кое-как прикрытом камышом, пугливо разместилась единственная зеленая машина с будкой, откуда прямо в хату был протянут красивый, очевидно, немецкий, многожильный провод, кончавшийся черным телефонным аппаратом. По нему Сталин-то как раз и мог в любую минуту поговорить со всеми своими «картографами», спросить – чего они там наколдовали. И один раз маму-таки попросили подождать – старший, очевидно, Жуков разговаривал с каким-то Васильевым. Значит, и Сталин персонально освящал нашу хату своим голосом и своими бесценными указаниями. Вот как нам повезло!

Доставалось и другим домочадцам. Как раз в тот момент, когда во двор к нам не могла проникнуть ни одна живая душа, Красуле вздумалось телиться. Срок подошел. Но к сараю ни бабушку, ни Машу-тетю не допускали – Боже сохрани, хоть плачь! Анна комментировала эти события так:

– Немцы не угробили, так свои черти-дураки изведут, доконают. Ишшо сдохнет, сердешная, – что тады делать?!

Без Красули, без молока и без мяса. Как прикажете быть? Тот-то с золотым зубом накормить? Другую корову даст? Поднесла нелегкая ишшо тех-то «картографов»...

Мама при каждом вызове к столу по мелким бытовым мелочам честно проводывала несчастную Красулю с окровавленным задом и с безнадежно печальными глазами, как я теперь понимаю, кормилицу. Часовые думали: хозяйка послана в сарай за продуктами. Потому и не препятствовали. Корова жалобно ревела и стонала, как человек. Утирала слезы и мама. Кто-то из будущих маршалов иногда торопливо устремлялся за сарай, браво расстегивая ширинку на ходу, — дело ж-то житейское! Сортиров теплых или точнее — никаких — тогда по селам не заводили. Люди долго боялись строить что-нибудь, напоминающее о зажиточности и культуре — еще раскулачат, как богачей! За жалкий сортир! Забор дощатый и тот — один на все село — у Похлебкина. Потому и был традиционный сарай под соломой, вытянувшийся параллельно государственной линии обороны, какую сейчас вычерчивали толстыми цветными карандашами знатные «картографы». А за сараем что? — отхожее место.

На обратном пути «маршал», застегивая ширинку и узнав о коровьем отеле, бросал снисходительно:

— Сказать надо было, мы бы ветеринара по рации вызвали. Чего ж не заявили? Сами виноваты, — и уверенно топал к сенцам, где часовые усердно тянулись перед ним.

Но было бы сказано, выражено сочувствие — и за то спасибо. Сами, конечно, во всем виноваты. Генералам явно нравилось присутствие городской культурной женщины в этом захолустье, как и приготовленные ею блюда. Женщина на войне — предмет повышенного мужского интереса, о чем прозорливо толковал еще дед. На это потом намекал и главный снабженец распорядитель — расторопный пожилой майор Фикса. Уж крестьянские разносолы — дело известное. Но мама была обеспокоена в какой-то момент больше судьбой Красули, чем маршальскими воззрениями на ее стряпню и на собственные её достоинства. Знали бы они, чего нам стоила эта Красуля при оккупации!

Мама, вызванная дважды ординарцами, для какой-то чисто гастрономической нужды, говорила, что узнала Жукова — видела его раньше в кинохронике, но поди — знай... Может, это широкоскулый генерал Ватутин, командующий Воронежским фронтом? Но нет, как будто бы Жуков — он руководил собранием. Она долго боялась тогда об этом рассказывать. Может, давала подписку тому

редкозубому картографу — Фиксе. Но Жуков-то был в апреле на Курской дуге (8 апреля докладывал Сталину о положении на этом основном — «стабилизировавшемся» еще в марте фронте) и обязан значит присутствовать на таком совещании «картографов» — вместе с Василевским, представляя Ставку Верховного. Она, Ставка, вездесуща, как и сам кремлевский небожитель. И Ставка — это для красного словца. Все приказы отдавал Верховный.

Представитель или зам. самого Верховного Главнокомандующего — с ума рухнуть! И другие всезнающие раковцы, пока лишь призываемые без всяких льгот и отстрочек, подтвердили эту версию — видели его потом на фронте, а сперва — у нашего двора, случайно там оказавшись, конечно. Глазища ж у них — как бинокли.

Сталина уж точно не было. И про паровоз не пришлось даже заикнуться. Ясно, что это Верочкина веселая шуточка и девичья фантазия.

Конечно, Ватутин, Рокоссовский, Черняховский, Соколовский, Телегин, возможно, Конев, Ротмистров вполне тут у нас могли находиться, но все их регалии были прикрыты и завешены пеленой повышенной секретности — плащ-накидками. И погода уж тут постаралась. В полураздетом и даже полурасстегнутом от щедрой печной жары виде их могла рассмотреть одна мама, которой строго приказывалось не отлучаться из дому и никого у себя не принимать — как же будешь распоряжаться в хате бабы Дони и тем паче кого-то принимать? Где? Смех да и только! Приказы как всегда противоречили один другому. Но шухер был изрядный. Бойцы дежурили и на улице — возле двора, заворачивая любопытных или посылая их подальше, чтоб не тратить лишних слов.

После обеда «тройки» наших чинов приближались к самому склону и лениво, без особого интереса, рассматривали в бинокль завидовские голые и серые окрестности. «Привязывались» к болотистой и непроходимой на вид местности, звенящей грязными и норовисто-настырными ручьями. Потоки эти и маршалу не уважат, не уступят своего ровчака. Радовало, что от солдат до маршала «наши» показывали себя как вовсе другие люди, не похожие на тех, что драпали в панике в 1941-ом. По крайней мере, на высшем уровне у них все было четко организовано и по высшему классу. И вели себя они достойно. Уверенно, несмотря на цепенящий почему-то обслугу страх.

... Часа через три отъезжали таким же порядком — по

одиночке, по мере прихода за ними дрожащих от нетерпения легковушек — знатные «картографы» Конев, Ватутин, Рокоссовский? Кто там еще? Василевский, может, Хрущев и другие политкомиссары — такого же уровня? Они нам не представлялись.

— Нагнали шороху! — сказал кто-то из солдат.

От нас был самый близкий спуск по тропке к речке и к колодцу, да еще прикрытый слева рыжеватой глинистой стеной, а при первом солнце обраставший белесой с рыжими поначалу цветиками мать-мачехой, потом туго перепутанный жесткой степной травой-муравой. Тут мы с Иваном и спускались к воде. С нами могла конкурировать только бабка Лепестиха, что жила «особе», около дороги, где тогда еще был небольшой деревенский «порядок» изб — штук пять — не больше. В Раково из-за желающих поселиться, даже без усадьбы, отбоя когда-то не было. Так люди раньше пытались устроиться в нашем передовом и знатном, богатом селе. Тут старались потом «окопаться» и свои бедняки-раскулаченные, оставшись без хаты, без крова и приусадебного участка. Землю как-никак бросовую выделяют, куда они денутся в колхозе? Мало ее тут пустует? Тянула, манила к себе многострадальная раковская земляца. Но бабка Лепестиха — «осела» почти у края Понизовки с ее стратегическим мостом. Мост, как ни странно, никого сегодня по-настоящему не заинтересовал. По нему некоторые маршалы буднично проезжали. Чего на него смотреть? И никому не пришло в голову, что у моста, сразу после него есть твердая почва у берегов, где журчит неглубокий ручеек. Известковый хрящ на расстоянии видимости — Попова купальня и Меловая гора — были ключом к Прохоровке, если ее считать центральным событием кровавой баталии, а то и ко всей Курской дуге! Первые немцы остановились перед взорванным мостом.

Манштейн со своим Готом и Хауссером окажутся не такими простаками, их традиционно подорванный мост не остановит и не устроит! Они опять прорвутся через Алексеевку и сперва сметут наших обороняющихся своими «тиграми и пантерами», а чертовых их бронемашин-то будет штук 80, как насчитал один оказавшийся в Раково, пока еще не призванный любопытный ветеран войны, но почему-то пребывавший в ту пору не в эвакуации. На то и военные планы, чтобы они не сбывались. Война! А маршалам и генералам-мудрецам в больших чинах будто все заранее известно, наши родимые мизантропные болота, где одни черти с голыми бабами водятся, казались им тогда надежно

непроходимыми. Но это тоже не совсем так. Правда, никого тогда не занимали такие мелочи и такая ерунда. Командующие же все секут с первого взгляда! Иначе кто бы их поставил? А начальники их штабов — еще похлеще. Нюхом чуют боевую обстановку! Адъютанты — тоже.

Наконец, «маршалы-картографы», с чувством исполненного долга и после сытного обеда, убралась, учтя и отметив, как всегда, самое главное.

Эх, знать бы «что»! С Раково у генштаба связывалась хорошая наблюдательная позиция и защищавшее надежно войска бесконечное болото на подходе к селу. Болото, а не роскошный гребень раковского взгорья, было тут важнейшим стратегическим плацдармом. С тем и умчались восвояси.

— Слава Богу, унесло толстопузых, — констатировала Анюта, правившая теперь роль главного ветеринара и отстранившая маму от коровьих проблем ...

— Ты, Лексевна, городская в этих наших коровьих да закуточных делах ни черта не петраешь, не обижайся, дай-кось я «покушерствую». Уж я-то с коровами всю жизнь петаюсь, знаю ихнюю утробу, как свою. У коров, здавается, усе лучше, чем у баб! И них и ноги — чатыре, и дирка пошире.

... К вечеру, после отъезда начальства, нас переселили, вернее перетасили, назад в пять минут те же расторопные по-женски ординарцы с помощью наших же солдат, которыми они взялись тут же командовать. И концы в воду. Красуля, слава Богу, благополучно опрасталась еще завидно. Это тоже немалое семейное событие. Пора отмечать успех. Тут и у тетушки Анны, принимавшей роды, законный повод для гордости и для пира. Она-таки была очень важным членом семейства по хозяйской и особенно бабьей части, включая коровьи отелы. И бабку вызывать не надо. Да и вызвать её запрещалось! Смышленная наша нянька.

Своими «картографами» все оказались довольны. Куда с добром! Осталось целое блюдо рыбы, чугунок маминого жаркого с волокнистым мясом, открытые консервы, несколько буханок хлеба, а главное — дефицитная у наших раковцев и даже у красноармейцев — соль... Я изнемогал от каких-то незнакомых пряных запахов, пытался съесть всего побольше — про запас, — и когда мама поинтересовалась моими деликатесами, оказалось, что я ложками гонял с хлебом мелко размолотую соль! То ли организм нуждался в бесполезном продукте, как теперь пишут, белой отраве, то ли я растерялся от такой вкусной неожиданности. А соль-то

была от природы белая, как мука, — недаром мелкого помола и не на нашей крутушке расколота. Как пудра. Обычная каменная зернистая соль — сероватая, а то и почерневшая слегка. А для высокого начальства любую отбелят и изотрут в порошок, — так думалось и мне. Такой чудной соли я будто никогда больше и не видел. Это был мой первый урок практической социологии и психологии. А опыт подвел!

Тут же меня забавно высмеяла Верочка.

— Вороне где-то Бог послал кусочек соли, и та его решила истребить.

Я понимал, что это дерзкая насмешка и всерьез опасался, как бы меня не придразнили теперь Вороной. Что в том плохого, что ребенок подналег на дефицитное угощение, как бы я теперь выразился? Вкус, правда, подкачал.

К вечеру к нам сошлись гости — та же Горбуниха с сестрой Ольгой, жившей на Агеевке у Виндовины, тетка Анна, важно подшаркивающая уже теперь баба Доня, слегка кривившая нос, — задали мы ей хлопот да и продукты такие ей одной тут были известны. Похоронка её вмиг согнула. Даже походка изменилась. А ведь она чутьем все и раньше — давно поняла. Но оставалась надежда.

Война помешала тетке развернуться — подольше побыть женой председателя — первого человека на селе. Но кое-какие плоды привилегированной бабьей жизни она все же успела вкусить и снисходительно глядела на простых, а тем паче раскулаченных товарок, не знавших даже названий диковинных маршальских продуктов и яств.

Другая столь же знатная публика, не говоря уж о наших девицах и двух Анютиных падчерицах, также удостоила нас своим визитом.

Смешливая младшая Верочка приглашала гостей на «объедки с барского стола» — по случаю вроде бы удачного отела Красули. Последнее событие для неё считалось главным. Стол казался непомерно длинным — еще «неразобранный». Его удлинители вчера за счет стола бабы Дони. Мама боялась, как бы в его щелях не сохранились неистребимые клопы, хотя их и вымывали безжалостно крутым кипятком. Но разве этой публике — девкам — можно верить? Вертихвостки.

Это же не Паша, а маме самой — некогда. Исполняла важнейшее поручение РККА! А вдруг какой кровопиец, похожий на клеща, вылезет на белую скатерть в аккурат перед маршалом или членом Ставки ВГК? А если он там затаился и ждет своего часа? Позор и срам на всю жизнь!

Трудно представить себе, что на отполированных

столетьями дедовских дубовых лавках, отдраенных белым кирпичом и золой по такому случаю, сидело такое высокое начальство! Одни Герои войны, Герои Советского Союза! Маме от страха можно было умереть.

От них, отпущенных на длинный поводок суровым правителем страны, зависели в ближайшем будущем не только судьба Родины, но и судьбы мира. Им «доручили» исполнять его августейшие указания и приказы — что может быть выше такой чести? Иначе — высшая мера!

Эх, знал бы бы мой дед, что на его лавке сидели такие люди. Он бы, останься живой, мог бы и им кое-что присоветовать!

Вместо выпитых в меру — для аппетита — коньяков (напитков ординарцы не оставили, и за то спасибо, что не всё прихватили), выставили потную и мутную бутылку «Марии Демченко», печально известной и тут. Тост попросили произнести тетушку Анну.

— Да што тут скажешь? Толсто живут, мужей на Дону и где попало поуклали, а сами ряшки наели, как боровы, да погоны золотые, видать, ишшо царского времени на себя настрогали. Бабы, мол, ишшо лытку подерут, солдатов им нарожают. Што тем-то бабам станется? Ишь, чертяки, консервами гребуют. Побудем живы! — вот што, — тетка засмеялась. Тост ее было чисто кавказским. С хорошим концом. Она ж и не то могла загнуть. Слава Богу, что хоть так!

Народ хмыкнул, рассчитывая на длинную речь, баба Доня скривилась, но это был, в общем, правильный тост. Не такой, как писали в многочисленных газетах и книгах. Там больше — «За родину, за Сталина!» А тут народная беззлобная оценка жизни и войны. Раковская философия. Диалектика. Низовая точка зрения. Не желаете услышать, господа, называющие себя к месту, а скорее не к месту — товарищами? Никому не приходило в голову, что вершителям мировых судеб не раз приходилось испытывать дрожь при виде своего Главнокомандующего. Они и представить не могли, что он в какое-то время их боялся больше, чем Зиновьева, Каменева, даже Троцкого, не говоря уж о своих собственных «гениальных посредственностях» — Берии, Молотова, Жданова, Кагановича. А вдруг перебегут к немцам, как Власов?

И эту верность деспоту, примас-магистру ордена меченосцев, многие из них сохранили и после его ухода в мир иной, несмотря на приказ поносить вождя. Иначе б они остались генерал-фельдфебелями, а не гениальными

полководцами, провозвестниками свободы, мира во всем мире, гуманизма, в чем засомневался даже не такой уж далекий Никита Хрущев, которому они тоже позже клялись в верности и преданности, но одновременно и недолгоблывали почему-то. Не было в нем армейской косточки. Он выглядел ходячей пародией и на Сталина, и на них самих. Утверждая себя, он бесстыдно умалял заслуги других. То же делал и Брежнев.

Глуповато глядевшая на старшую сестру Машка с полураскрытым ртом, лишь добавила что-то под общий хохот. Я не разобрал. Но мама все же решила поправить такую несознательную публику.

Мама сказала, что нам очень повезло. Это, мол, были не те сытые кремлевские военачальники, что кулачили и сажали без разбору, а сталинградцы, прошедшие огонь и воду, видевшие горе, как-никак сами выбившиеся на высокие посты из блиндажей и землянок. И не даром. Слово Сталинград и здесь, сегодня, звучало не раз. «Мы им устроим еще не один Сталинград». Это она слышала собственными ушами. Мама не Анна. Кругозор у нее шире. И ее слушали с большим интересом. Не будешь же вспоминать, кто из них душил тамбовский или кронштадский мятеж! Да практически все там отрабатывали свои полководческие навыки! Иных не было. Что ни кажи — допущенная до советских панов. Это ревниво понимала и баба Доня. Ей уже не доверяли, черти драповые. Общий патриотический порыв объединял даже темных деревенских баб. Хватит нам немцев! Такой итог.

— Чтой-то они на тех-то, что в землянках не джеже шибають, джеже откормленные да и курдюки, гляди какие, волокут, — буркнула опять неугомонная тетушка Анюта, любившая справедливость.

— Штабные, видать, — вдруг ни с того ни с сего вставила Верочка, — ей ли еще в такие дела совать нос?!

Победа или хотя бы перелом в войне — любой ценой. Потом об этом скромно подзабыли. Не хочу хаять или идеализировать командирский корпус. Теперь-то известно, что как во всякой советской даже военной тусовке были и малообразованные бездарности, демагоги-правдисты и карьеристы, вроде Мехлиса, готовые выскочить с инициативой и большой кровью купить себе очередное звание или орден, и неустанные стукачи на своих, работавшие как дятлы. Все как в нормальном советском коллективе с его полит и парторганами, «особняком», а вскоре и Смершем. Трудно было только кого-то из них, даже

самых отчаянных храбрецов и тружеников войны, заподозрить в любви к русскому солдату, не говоря уж о гражданской серой массе, — такой, как мы, деревенщине. Были и полуграмотные генералы, вроде Кузьмича у К. Симонова. Но он только плохо, по-деревенски говорил, а действовал, дескать, грамотно. Нельзя забывать, что все эти Кузьмичи прошли через «очистительное горнило» 1937 года, приобретя соответствующие политические и моральные качества. Двое будущих маршалов были арестованы — К. Рокоссовский и К. Мерецков. Кое-каких генералов, таких, как А. Горбатов, не успели уничтожить и призвали на войну в срочном порядке. У многих из них отбили инициативу и способность мыслить самостоятельно. Но ужасающе низок был и уровень их культуры. Только 7% командирского состава было обременено «высшим образованием». А это же не Гражданская война. Когда они заговорил в 1957-ом в поддержку Хрущева, а потом при осуждении Жукова, то Никита Сергеевич стал казаться на таком фоне гением и колоссом, как Киса Воробьянинов. Мы слышали часть верноподданических спичей по телевизору. Большая часть представителей генеральского корпуса как будто формировалась из малограмотных допотопных Кузьмичей.

Молчавшая долгое время и какая-то рационалистически мыслящая баба согбенная Доня вдруг заключила:

— А наших-то солдатиков, вместе с вашими постояльцами куда-то угнали, и проститься не допустили. Видать, «дюже много знали», — она многозначительно улыбнулась.

— Ну да, не поповылезь им глазяки — на самом-то деле? — всполошилась вдруг Марья, будто у нее оторвали какую-то симпатию. Все пыркнули.

— А уж эти хлебнули — не дай Бог никому в свои молодые годы. И у кого язык повернется сказать, что это не наши ребята? Достоинно тянут и сегодня свою солдатскую лямку, надсаживаются на окопах.

Мысль тоже совсем не нова. Но звучала она вдохновляюще и для очередной стопки подходяще. За это и выпили.

— За дальнюющую ихнюю судьбу, чтоб остались живы, вернулись к женам и к матерям! — сказал кто-то из приглашенных, кажется, Горбуниха. Голосище-то! Точно она. Ни с кем не спутаешь.

Несознательные дремучие бабы чувствовали свою собственную и общую народную боль, не переоценивая наших славных комиссаров и полководцев.

Посмеялись, спели «родную дубину» и свои бесконечно печальные «Лёли-лёли». Сквозь эти причитания вдруг

прорвался напев жестокого городского романса. И не мама его исполняла.

Ветер занавесочку
Тихонько шавелить.
Изменщик под окошечком
С другою гаварить.
Курнает в свою чарочку
Гусарские усы...
Снимает с рук перчаточки
И смотрит на часы.

Потом пелось о несчастной девице, соблазненной таким вот кавалером,

«Не плачь, не плачь, любимая — грех на душу приму, тогда еще заплачешься, как замуж не возьму».

Вечная тоска и страдания выбивались из этих бабьих уст и сочиненных впопыхах, по случаю, русских песен. И они соответствовали моменту. И у кого-то на глазах пробивались слезы. Забавляло и то, что запевалой в этом старомодном для меня концерте была тетушка Анюта. Вот уж никак не ожидал. С нею пыталась соперничать Марья, но голос и авторитет не те. Заправляла все же старшая сестра.

— Эх, гитары нет, — со смехом вставила мама. — А нет, так и точка, нечего «сусулить», — рассмешила она неожиданно присутствующих своим раковским выговором.

Чего стоила старинная и популярная здесь песня «В Таганрозе приключилась беда»? Потом пели «Я милого узнала по походке» и «Сухой бы я корочкой питалась».

Зато отличились девки, сбившись в свой кружок, они, за исключением Шашечки, звонкими голосами орали официальный «Огонек», «Дан приказ ему на Запад» и «Катюшу». Советская власть с помощью своих пропагандистов и особенно школы попыталась внести бездумный оптимизм в традиционную народную песенную культуру, показать, как хорошо умирать на позиции или на пограничье. Но культура эта все же находила какой-то свой извилистый путь, уклоняясь от подрывной пропаганды, даже в озорных частушках, еще не полностью тогда истребленных на селе. И главное надо было перебить и перекричать няньку — тетушку Анюту.

Вот и сейчас наши девицы орали во все горло и во всю глотку свежие и совсем уж охальные страданухи, издеваясь и над Гитлером, что вяжет лапти языком — (услыхали бы чопорные немцы, как их приравняли к нашим «лаптям»!)... Но отражало нашу армейскую жизнь не хуже, чем Шулженко с ее «синеньким платочком». Может, даже

лучше.

Сыт и пьян, погон на месте
И ремень через пузень.
Получает тыщу двести
И целует каждый день.

Создавалось такое настроение, будто война у нас уже закончилась, и ничего такого страшного этой земле и этим селам не грозит.

— Ишь, вертихвостки, куды потянулись, «тыщу двести им оторви да подай»! Комсомолки-ссыкомолки! А ну, умолкните, не то виски повыдеру, — подала свой голос тетушка Анюта. — Матери вы уже не понимаете, дак я вам буду матерью. Пустило Микиту на волокиту. Немцы-то сами только в Бутово потетюрились. Чего гляди, вернуться, не то заиграете и запоете, — у вас одни гульки на уме. Женихов-то ваших не зря перевели.

— Нянь, да не порти праздник, — жалобно пропищала Верочка.

— Бутово они будто покинули, к Глинкам потянулись — это я тут краем уха слыхала, — заметила мама. Томаровку будут обкладывать.

— Лексевна, ты больше знаешь. А про колхозы ничего не казали? — опять спросила любопытствующая настырная Горбуниха.

— Не до того им, сейчас Гавриловна, было. Да это же военные, а не делегаты съезда колхозников, — ответила мама во второй раз.

Собравшиеся обреченно и почти разом вздохнули. О самом главном «картографы» не успели потолковать. У кого что болит... — Вы ишшо не знаете, чего они тут напланивали, что нам уготовили. Неспроста они сюды явились гуртом. Из своих хат повыкидуют — к кобелям. Не к добру — и всё тут. Облюбовали чтой-то наше Раково. Точка, как сказала б Нина Алексевна. Сердце мое чует. Неспроста. Вот попомните слово.

— Ты ж казала, что у тебя его, сердца, нету, — вставила свое слово и Горбуниха..

— Много ты понимаешь!

— Будто одна ты, нянька, усё знаешь? — оборвала ее непочтительно Маша.

— И я всего не знаю, но ничего хорошего не жду. Наше село залятое ишшо при татарах.

— У татар проклятье слабое, несурьезное, оно до Бога не доходит, они кустам кланялись да веткам, — сказала вдруг молчаливая Шашечка.

— Много ты знаешь. У них свой Бог, правда, Нина Лексевна? — обратилась Анюта к моей маме за поддержкой — как к человеку авторитетному.

— Если вы тех татар, что с монголами Русь разоряли, имеете в виду, Анна Михайловна, то они вообще были язычниками, молились солнцу и окрестным кустам. Это правда.

— Вот видишь, тут и балакать нечего, — торжествующе заявила Анна Михайловна. Не знали они никакого Бога, как немцы, что отреклись от самого Христа. И точка.

— Нянь, а ты знаешь, какая она та точка? — тоненьким голоском спросила со смехом Верочка.

— Знаю, в ликбез ходила, ты ишшо на свет не вылуплялась, — с хвостиком-закорючкой, как ты...

Молодежь хмыкнула. Анна могла и нарочно пошутить.

— А чего ж читать не научилась?

— Дурили там с женихами, как вы на санях. Учителей не слухали. Я ж тоже не была чи молодой? Да и учителя такие-то были советские, сами ни кобеля не знали. А тут голод, коллективизация. Не до учебы, когда сдыхать зачинаешь.

— Ты, Нина Алексевна, не обижайся — «дуруков» и посередь вас, вученых, хватает.

— Не больше, чем везде, — смеясь ответила ей мама.

— Была б ты поварихой — и горя б не знала. Таким-то б пузачам готовила каждый Божий день. Никакого добра я зараз не жду от власти. Ни от какой. Мосейку вон распластали... И цветут, как майские рожи на плетнях. Куды ж там! Пердуны отрашвивают.

И тут дернуло меня вмешаться в спор подвыпивших взрослых.

— Тетя Аня, — пропищал я в наступившей на время тишине. — Вы всегда людям говорите одни гадости. Так же жить невозможно! Просто невыносимо.

Ой, что тут было. Анна вскричала, что меня надо пороть плетеным кищеным кнутом с нарезным кнутовищем по три раза в день, что меня тут изблаговали и я никого не понимаю — ни старого, ни малого, всем ужо сел на голову...

— Зализали его тут, затетешкали, как шелудивого кутенка, а он, гляди, что вытворяет. Дайте хоч мне ремень, я его достану, я его подвучу, я его отхлыстаю.

Все грохнули. Мне пришлось спасаться бегством в свое запечье, чтобы не подвергнуться немедленному «воспитанию». На печь-то я легко теперь запрыгивал с примоста. Натренировался, да и подрос за полтора года. Акробат.

Анюта слегка осмеяли. Кто мог поверить тогда в ее слова? В то, что очевидная бабья глупость оправдается? Обиженная Анюта опять гордо и торжественно удалилась. Даже баба Доня глядела на нее осуждающе. И хотя в перспективе тетушка оказалась права, но, раздражив застолье, считала, что ее кровно обидели. И больше всех этот — сатаненок слюнявый. То есть — ваш покорный слуга. Но это было совсем несправедливо. Чистой воды ложь. Ни соплей, ни слюны у меня никогда не было, если не болел, конечно. И я её первый не трогал, как мне тогда казалось.

Недовольна была и Шашечка и чуть не двинулась вослед за мачехой. Шашечке не нравился разбитной девический концерт. Ее опять попросили прочитать «Спасенье». И она снизошла к «слабо верующим», но выдала на гора уже как бы другой текст:

— «Когда пред вами луч лазури померкнет в тени черной бури, когда кругом волна людских страстей растет и выше, и грозней и всюду мечет разрушенье, — о верьте, есть Спасение! Спасенье!».

На второй день суровая тетка Анюта принесла нам черненького ягненочка — ярочку, чтоб не погубить ее на многочисленных поминовениях убиенных. Она и впрямь ходила с посиневшими от горя и выпивки губами. И на нее соседи глядели с опаской.

Со свойственной ей одной деликатностью тетка Анюта добавила:

— Да глядите в суп не затасуйте, узнаю — с вас самих шкуру спушшу. А его барынье и так не отошшает, без мяса, — она неласково потрепала меня по щеке, — ишь горит, как маков цвет на закучье, соли, видать, учора до отвала налупился, — и почти гордо удалилась, перекачиваясь с ноги на ногу.

Я от такой ласки едва опять не дернул на печь. Но потом зачем-то тетка вдруг вернулась — забыла «везенки». Бабушка опять ее проработала.

— Анна, ты теперь вдова, ну и лепилась бы ближе к своим, прибивалась, ходила б потише, а ты знай дело — шкандилишь, на рожон лезешь, нарываешься, выпиваешь, как мужичака. Ий-ей.

— Ничего, мам, не могу с собою совладать. И квит. «Карахтер» у меня, видать, сатанинский. Режу правду в глаза, а то и промеж глаз. Вот и откупаюсь, как цыган на перелазе, — Анюта вдруг неожиданно прослезилась. Такое даже меня рассмешило. От нее никто такой слабости не ожидал.

Этим дело картографов не кончилось. Зенитчики снялись только на второй день, не сделав ни единого выстрела. Мало ли чего, немцы могли узнать чуть позже о нашем благородном собрании и кинуться сдуру бомбить нас — в свиной голос. Теперь зенитчики уматывали куда-то далеко — в другое место, на не менее важные позиции, предписанные высоким начальством. Дремали они в последнюю ночь, в перерывах между караулами, почему-то у бабы Дони, а не у нас. Так было расписано все до мелочей. Кормились только при «штабе». На следующий день, когда они со своими тонкоствольными пушками снялись, к нам неожиданно вскочила Шашечка. Она не бросилась ко мне доедающему («чвялившему от нечего делать» — поздешнему) горячую картоху на лавке, не стала тетешкать, а сразу пожаловалась бабушке.

— Ба, мать цельную ночь голосила. Глаз не дала сомкнуть.

— Что там ишло у вас стряслось? — строго спросила обеспокоенная бабушка Домна...

— Да ничего. Плакала цельную ночь, какая она теперь разнесчастная, что без мужа её теперь Пановы со светут сживут, съедят живьем, что ей навек оставаться да ишло с чужими детушками, густо б их сеяли, да редко б они всходили, что она недолго протянет.

Я никак не мог представить Анну голосащей. Такая крепкая тетка, и вдруг уподобилась нашему Витьке.

— Ладно, ступай домой, жалкая, я ей пропишу пилюль. У однэй Анны только горе? А у меня не горе, а у невестки Нины, думаешь, радость? У всех одно горе. Война. Надо с Горбунихой да с ее сестрицей поменьше кубрячить — глаза заливать, вытянуть на себе горе надо, нюни каждому распускать негоже — так-то оно как-ся легче. Да не годится выть моей родне. «Придмер» надо показывать, видишь, как нас начальство отметило.

— Бабушка Домна, только вы меня не выдайте, — крикнула Шашечка с порога...

— Небось, жалкая, — и бабушка двинула ухватом в чугунок с такой силой, что зашипела и дохнула паром выдавшая маршалов и всякие иные виды печь.

...Что же решили на этом совещании наши «картографы»? Это был черновичок величайшего штабного плана будущей Курской битвы, принятого не в Москве, а в нашей хате. Во всяком случае разметки линий и рубежей стратегического противостояния немецких и советских армий. Стыки и точки соприкосновения основных

противоборствующих сил.

Тут полководцы как раз и «привязывались» к местности, проводилась ими и боевая рекогносцировка. От северной Томаровки до южного Раково намечено было три рубежа обороны. Первый — Глинки под Томаровкой, где потом расположились немцы, оставив Бутово, второй — Бутово-Черкасское, и третий — самый важный наше Раково — тут уже государственный последний рубеж. О том, что творилось на первом рубеже, где было свое Раково, правдоподобно рассказано в повести А. Ананьева «Танки идут ромбом». Словом южный курский фронт как будто простирался от Раково до Раково. Это его самый яростный фас. И если кому-то удалось в страхе пробежать 30 километров, спасаясь от немцев, то под Раково его должны прикончить свои по высочайшему приказу маршалов и от имени Главнокомандующего.

Что, кстати, в какой-то мере и осуществлялось.

А главное — именно по нашему проклятому еще «погаными нечестивцами» — татаро-монголами селу, как говорили старожилы, должна была проходить третья, самая неприкасаемая и непреодолимая — «болотная» «Государственная линия обороны», где «положено» только одно — стоять насмерть. И она-то частично и подвела Красную Армию, хотя о таких деталях не положено распространяться. План-то был самый грамотный и самый секретный! И оплошности в его реализации дорого нам стоили. Но об этом — отдельно.

Тетушка же Анна, разгадавшая вмиг замысел сталинских маршалов и генералов, оказалась, конечно, права. Вот тебе и глупый бабий умишко! Вторая и куда более жестокая, истребительная часть войны для нас только «зачиналась». Все сказанное выше оказалось лишь ее увертюрой.

Михаил ТУРБИН

ПАХНЕТ ВЕКАМИ ОБРАЖНАЯ ГЛИНА**ДАВНИЕ ЗВУКИ**

Никуда от памяти не деться —
Возникают звуки, боже мой...
Это же доносится из детства
Цоканье копыт по мостовой.

Знаю, то не сказочные тройки
С колокольчиком из-под дуги,
А везут цемент для новостройки
Заводские кони-битюги.

Ясно вижу улицы-руины
С высоты заливенской горы,
Где ведут работать конвоиры
Пленную колонну немчуры.

Я за нею побегу вдогонку —
Увлекает любопытства зов...
Тащат кони, тащат пароконку,
Затихает цоканье подков.

А потом услышу за горсадом,
У завалов, звон и стук лопат...
Я доволен — немцы под приглядом.
Поглазею и вернусь назад.

И почую сладкий дух акаций
У забора отчего двора...
Напряжённно лязгают на станции
От толчков вагонов буфера.

Храп коней, сопенье паровоза,
Годы повсеместного труда...
Это не поэзия, а проза —
Выходить из детства навсегда.

МОЯ ПЕРЕСЫХАНКА*

Сипит протяжно заводской гудок,
Смолкают звуки птичьей перебранки.
Тьму вытесняет заревой поток
На улице моей – Пересыханке.

Наш дом стоит напротив проходной.
Голодный год – всего на свете мало...
Ещё я чую дым пороховой
В сгоревшем танке около вокзала.

Спешат рабочие на ранний зов
(Грязь обойти – и тут нужна сноровка),
Шагают мимо шлаковых домов
В замызганных фуфайках и спецовках.

Рать трудовая движется к станкам:
За братом – брат, сосед ли за соседом,
И по мужским щетинистым щекам
Скользит не лучик солнца, а Победа.

В кузнечный цех уходит мой отец,
А следом мать – работать до потёмок.
Пищит сестрёнка младшая – птенец,
Да и у старшей голосишко тонок.

Двор опустел, лишь изредка щенок
В дверную щель просовывает лапу,
Но я сижу, готовлю свой урок
Под тусклым светом трехлинейной лампы.

Зовёт меня заборная дыра
Лучами солнца в радостные дали...
Бежит шумливо в школу детвора
По кирпичам исхоженных развалин.

Гудок смолкает, слышатся грачи,
По небу облака ползут, как рохли...
Во мне с тех пор овражные ручьи
Журчат, журчат – нигде не пересохли.

* Пересыханка – обиходное название местечка в старой части Орла

НА ОТЦОВЩИНЕ

Пахнет веками овражная глина.
Сыплется свежая, словно для памяти...
Вот она Родина, – та, что не сгибла,
С куполом храма на древнем фундаменте.

Тонет в садах городская окраина,
Вынырнуть хочет среди перелесков
Вместе с грачами, которых надраила
Кремом сапожным до яркого блеска.

Рядом завод напряжённо рокочет,
Дышит станками на полную мощность.
Здесь я когда-то трудился рабочим,
Утром вливался в чумазую общность.

В общность надёжную, данную Богом.
Зря говорят, что исчезла, разбита...
Как же схлестнулись друг с другом надолго
Дух трудолюбца и дух паразита!

Бой продолжается – вижу по лицам:
Стало улыбок побольше, чем хмури.
То ли Христос растворяется в ливенцах,
То ли расчетливый, хитрый Меркурий?

– Кто мы? Откуда? – несётся нередко
Глупость вопросов в газетном разливе.
Лично я знаю по собственным предкам:
Русским родился, а родом из Ливен.

ПОПУТЧИК

Призрак ветра в ночи.
Дым печной лезет с крыш.
Из Орла мчится поезд в Воронеж.
«Что ты бродишь, старик, и не спишь?
Что ты бродишь?»

Он угрюмо молчит.
Сигарету вставляет в мундштук –
Неизменный свой недруг и кореш.
«Чем тебя растревожил колёс перестук?
Что ты смотришь?»

Ничего не видать за окном.
Лишь луна устремляется ввысь,
Да навстречу сугробы летят словно кони.
«Ляг на нижнюю полку, уймись!
Что ты вспомнил?»

В тамбур вышел курить,
Про себя бормоча: «Сгибла Русь...»
Совесть что ль нечиста? Прячет очи...
«Ну, старик, погоди, я с тобой разберусь,
Надоел нету мочи».

Засыпаю, согретый вином.
Доконала усталость вконец.
Вижу лампу и стол, рядом мелкая яма.
Сочиняет донос беспокойный юнец
На Мандельштама.

УБИТЫЕ

*«И гнева нет, и боли нет,
Мы будто Родиной убиты».*

Лев Котюков

Россия – героический редут,
Край каждый представляет батарею,
Где Родиной убитые живут
И презирают неубитых ею.

Живут веками, смерти вопреки,
И нашу веру сохраняют свято,
И первыми бросаются в штыки,
Едва завидев цепи супостата.

Но русским ныне не ведётся счёт -
Бесславно в россиянах скрыты.
Число убитых Родиной растёт,
А процветает кучка неубитых.

Что остаётся?.. прав поэт,
Доверившись печальной лире:
«И гнева нет, и боли нет»...
Как будто нет нас в этом мире.

МИГ

Есть миг один у Страшного Суда.
За прожитое долго и недолго
Сгорают души в пламени стыда
От чувства неисполненного долга.

Они сгорают ярко, до конца,
Внутри себя, поверившие в чудо.
И горек взгляд печального Творца,
Дарующий им право Самосуда.

Юрий ОНОПРИЕНКО

ГРАША

Из городских копчёных лабазов я впервые попал в лесную деревню. Было начало пятидесятых, ещё повсюду на еловниках валялись гнилые танки — словно дохлые жуки.

Места же там райские, дороги песчаные и ровные, как тонкие стрелы; ни горки, ни пригорка, только витые завороты, будто и эти тележные тропы-стрелы покорёжило в военной огневой топке.

Мне шёл семнадцатый, и было чуть странно и страшно, что война так широко пылала. В детстве, пережитом в разбиваемых подвалах города, казалось, что воюющие бомбы падают лишь на наши несчастные каменные улицы; а где-то, в таких вот длительных рощах и лугах, стоит бесконечная тишина и, как сейчас, пахнет льном и хлебом.

Злая голодуха уже отступала, народ вокруг жил открытый и приветливый. Я, будущий художник-оформитель, приехал стажироваться на всё лето, и мне указали размалевать свежую колхозную избушку-клуб какими-то бодрыми картинками и зазывными лозунгами.

Я плохо понимал, что такое колхоз; меня больше тянуло на распластавшуюся в уютной низинке ферму, где смелые девки-перестарки наливали мне гладкий глиняный кубанчик молока, мой суточный рацион, настоящее пиршество.

Доярочки встречали меня ласково, обнимали и тискали своими тёплыми руками; но это было потом, а сначала те заморенные шутницы устроили со мной таинственную смехоту, от которой я долго краснел.

— Молочка нада? — спросили они распевно. — Так сам и подои коровку-га!

И указали на дородного бычка, уставившегося в моё конопатое лицо большими спокойными мокрыми глазами.

— Ты сперва вымечко ей мягкой водичкой омой, потерёбкой, приучи; а потом за доечку, за доечку, вон она у пузца висит, ласковая...

И дали мне кружку с обогретой солнцем водицей, и стал я старательно мыть бычку его крепкие яички-яблочки, а он, лобастенький, жевал жвачку, мотал пухнатым коротким

хвостом и оглядывался на меня с некоторым удивлением.

Доярки расхохотались всеми своими звонкими и надтреснутыми, тонкими и сорванными голосками — но не надолго, потому как хотели не издёвки, а короткой потехи; оттащили меня, молча пунцовеющего, от облегчённо вздохнувшего и ничего не понявшего бычка — и каждая прижала мои горящие щёки к своим большим парным тоскующим грудям:

— Ах ты, милка необидчивый! Ничё, мы никому не скажем, а вот они какие дочки, вот, чуешь? Эх, был бы ты постарее, настоящий довоенный, всех бы нас в жёны взял; а так тебе, родненькому, одна дорожка — к Граше-Гранёше.

Кто такая Граша, визнавать мне было не по настроению, только стал я, сам того не желая, малевать на горбатой клубной стенке советскую молочницу с передовым взглядом и со значительно большим, чем подобает, бюстом.

Пришёл кряжистый председатель и крупно заматерил меня:

— Этга шо тут за титьки, как фляга? Вместо титьки у неё должна быть звезда, а лучше две; понял, диверсант? Мы тут воевали, а ты несознательной непотребностью буржуазной нас так тут пугаешь? Я тебя живо сдам, куда нада!

Председателя звали Евген Ротичев, и он был единственным, кто мне смутно не понравился.

Кругом стояли дивные перелески, гривки их на закате делались ярко-розовыми, как кремлёвские рубины, которые я однажды увидел в первом цветном киножурнале; но тут этих лесных берёзовых рубинов было много, бессчётно, и жили среди них простые сказочные люди, как раз такие, как в журналах, — и лишь Евген марал чистый мирный воздух криками-разрывами:

— Трах-та-тах, твою! Я в окопе сидел и орден за это от нашего великого правительства получил, кровью истёк из всего сердца, а ты вредишь моему колхозу? Ты что силос так заунывно топчешь? Хочешь, чтоб он перегорел? Утопчи яму, как нада, чтоб нашим передовым коровам на всю зиму его было, чтоб показатель у них стал на всю область.

А область эта была то ли Брянская, то ли Гомельская, а может, даже Черниговская; там Десна до сих пор такая течёт, что пей воду из неё ладошками; сто прохладных горстей черпнёшь — не напьёшься: пресная, глотается как воздух; божий напиток.

Село звалось Боровичи, там Боровичей, как у нас Ивановок: Верхние и Нижние, Большие и Малые, Первые и Вторые — всё Боровичи. И говорят там люди, словно песню

поют, даже поругиваются нараспев и спорят с улыбкой и прибаутками.

Едва ль не половина их тогда были фронтовые калеки. Добрые бабы, которым посчастливилось стать не вдовами, а иным сделаться даже свежими жёнами, носили обрубленных мужей, словно больших дитятей, и купали их в жёлтых корытах и дворовых банях; и я сам видел такой обрубок, вся спина его была сплошной красно-сиреневый шрам.

Былой солдат просил помылить его, я елозил полынным хозяйственным обмылком по его рытвинам и боялся, что рука моя нечаянно прорвёт эту упруго-морщинную кожуруку и провалится к его внутренностям, и напорется на минные осколки, что сидели под громадным шрамом и чувствовались моим трусливым юношеским пальцем.

Немало было и детей-инвалидов — детвора непрестанно шуршала по вспоротым войной логам, копая патроны и подрываясь, задаром губя свои любопытные ангельские души.

Самоструганные костыли, выгоревшие до безнадёжной белизны картузы, перешитые дырчатые карманы, малыши с хлипкими помочами через плечико, на одной ломаной пуговичке или даже крючочке — и ласка, льющаяся из всех глаз, ласка синяя, льняная, врождённая.

И этот председатель с неизменным своим орденом на мятом, но целом, не штопанном пиджаке, на тяжёлом трофейном велосипеде; говорили, что никакой он не окопник, а «писаришка штабной», однако слушались его безропотно, поскольку времена были крепкие и резкие — как суровая нить.

Особенно Евген допекал Заброду, парня чуть постарше меня. Правда, и было за что — Иван Заброда этот вырос неописуемый шалопутом. Таким же удался и его брат-двойничок Вовка.

Они были безотцовщиной, а это дело известно какое: безотцовщина всегда первой глядит в уркаганы.

Их бы давно впихнули в колонию, однако братья считались ещё и придурками; тихими, но патологическими выдумщиками.

Ну представьте: увидя у вернувшегося в середине войны Евгена (вот такой окопник, сумел не довоевать) блестящий орден на лацкане, Иван, ещё мальчишка, шепнул брату:

— Мы тоже сейчас медаль заработаем. Пойдём на Десну, там в затоне прорубь. Ты в неё вроде бы упадёшь, а я тебя как будто спасу. И получим на двоих медаль за спасение утопающих.

И, воодушевлённые, побежали вприсклок, а свидетельницей заманили Грашу, совсем ещё тогда несмышлёныша.

Граша была побочной дочкой Евгена, жила отдельно с мамой-сиротой, он дочь не привечал, хоть прилюдно и не пинал. Граша родилась сухорукой, а это был сталинский недуг, Евгений откуда-то знал.

Ну что, вернулись они с заснеженного затона, Вовка весь в трясушке и во льду; Граша лепетала, что, вправду, он то ли поскользнулся, то ли сам жиганул в прорубь, а Ванька его из неё тащил и кричал: «Грашка, беги к отцу, пусть медаль нам выписывает, я брата спас».

Это что такое? Мать отогрела обоих на печке и высекла; а Граше навсегда запретили водиться с этими полоумными.

Но после войны оба из тщедушных опять превратились в тугих боровичков, вытянулись, окрепли и сделались безотказными работниками, навоз с фермы только они и выдирали. Сутками могли там без продыху копать, вдвоём за десятерых это дерьмовое дело справляли.

Евгению же строили козни. Ночью в его сад заберутся и все яблоки на ветках понадкусывают. Висит опозоренный белый налив, каждый плод будто луна щербатая.

И ведь поймать братцев ни разу не смогли: они и перепелами, и совами кричать умели, и даже председателю собаку заговаривать. Сидит на цепи псина, близкую перепелятину, исполняемую Иваном, в высоком воздухе вынюхивает, а на другом конце ровно покошенного колхозниками-подёнщиками сада лёгкий и прогонистый Вовка на ловких ходулях неслышно шастает, опираясь на долгую палицу, и лучшие яблоки выгрызает, ни одного не рвя в карман.

Люто возненавидел Евгений обоих Заброд. Притом, Иван повадился к Граше, пленил тем, что голоса меняет: то заикастой речью вылитого Молотова запустит, то забормочет что твой всесоюзный староста дедушка Калинин из радиотарелки.

Граша себя, конечно, блюла; но в ту пору куда сухорукой-то? Ясно, только с шалопутом. Открыто они не гуляли, однако при встречах друг дружке улыбались — застенчиво, словно две звёздочки на краешке ясного вечера.

В то лето, что я там был, Граша стала заглядывать в клуб смотреть мои малеванья; днём, когда там пусто, мушливо и гулко.

Войдёт, станет у двери и оглядывает мою дурацкую тётку с кривыми серпастыми пятиугольниками вместо грудей.

Недаром, несмотря на увечье, доярки кликали меня к Граше: она была красавица. Глаза её смотрели, как два росистых василька из ржи, золотое пшеничное личико светилось будто изнутри. Вся фигурка её была тот же колосочек; едва созревший, тонкий, счастливый.

— Небушка, небушка побольше нарисуй, — сказала как-то она, и я впервые услышал её голос; мальчиковый, даже малышовый.

Она была мой одноклассник, доверчивость её была русалочья. Волосы облепляли влажную от дневной жары шейку, и на шейке той билась синяя, бирюзовая жилка.

Я молчал, потому что говорить с таким существом надо каким-то другим, небесным языком, а я не мог в тот миг изъясниться и на простом земном.

Она подошла и погладила меня по лицу левой рукой; правая качалась ивовым прутиком. От её косновений прынул аромат, я навсегда запомнил его; от ладони, от всей Граши шёл чистый девичий запах, ему нет названья.

Такой запах качает тебя в волшебных снах, греет в гробовых ледниках и возвращает к жизни из самых тяжких, самых глубинных и больных запоев.

— Научи меня, — не отрывая мягкой душистой ладони от моих покорно зажмуренных глаз, всё тем же голосом попросила Граша. — Я смогу и одной рукой. А за это... Я за это буду ножки тебе оmyвать. Каждый день... всю жизнь.

Ещё секунда — и я бросил бы грубую и неумелую свою кисть и обхватил бы Грашу, и сам омыл бы её босые игрушечные ступни умиленными слезами и поцелуями.

Но стукнула гремучая, тяжёлая, какие были тогда во всех домах, дверная щеколда — и у порога появился Иван.

На его некрасивом, с буро-серыми рябинками лице не отразилось ничего: ни удивления, ни смятенья, ни злобы. Иван переступил с ноги на ногу и понуро — такой понурости я у него ещё не видел — сказал:

— Гранёша... пойдём вечером к Десне.

Граша наконец оторвалась от меня, опустила разом потухший васильковый взгляд и молча вышла — неслышно, словно спугнутый летучий серафим.

Он поспешно пропустил её, постоял ещё с минуту, не глядя на меня, щуплого и съёжившегося, — и тоже ушёл.

В ту же ночь Евгений прихватил Ивана у дочкиного шалашика. Граша всегда спала в этом шалаше, уютной тростниковой колыбельке поодаль от сада, на чудном деснянском склоне, куда падали первые утренние и последние вечерние — в общем, самые колдовские —

солнечные лучи.

Войти в этот шалаш-курёнок было просто, но Иван всю ночь лежал в пятнадцати метрах от него и, похоже, плакал.

Когда Евгений вытащил его из задубевшей травы за чёрные пятки, глаза у Ивана были мокры от росы и тоски. Председатель бил его страшно и умеючи — под печень, не оставляя следов. Иван не кричал, но так и остался там, пока не прибежал Вовка и не уволок брата домой.

Слабо возгорелся зазывной рубиновый рассвет, от реки-шептуны тянуло мечтой и хмелевою прохладой; и Граша сладко спала, не ведая беды.

Днём мы с нею пошли к Забродам. Иван лежал на скорбном боку и пролежал так всю неделю.

Потом он уронил нам:

— Хочу брусники. Она уж созрела.

— Мы принесём, — с поспешной готовностью откликнулись Вовка с Грашей.

— Нет, пойдём все вместе, — ответил Иван в подушку.

Мутно посмотрел на меня и добавил:

— И ты, Юрий, с нами, если хочешь. Не бойся, у меня к тебе зла нет... А ты, Гранёша, лучше останься.

— Я с вами! — голос Граши высоко зазвенел, как колоколец-подголосок на полном ударе. — Иначе вы Юру убьёте.

— Зачем, он же твой друг. А раз твой, то и наш.

— Я иду, — сказал я, но подбородок мой чуть дрогнул.

Они заметили, однако не усмехнулись.

Доярки-перестарки с сомнением глядели от фермы, как мы на ночь глядя гуськом спустились и по тихо хлюпающему долгому мостку перешли за реку.

До заката, правда, оставалось часа три, но скоро мы поняли, что Иван ведёт нас явно не за брусничкой.

Шли без разговора — пять, семь, десять лесных километров. Ягодные места уплыли в сторону, вокруг пепельно-сажными пятнами зачернели обрывы.

Это явились дикие края, где человек теряется и пропадает верней, чем иголка в сене.

Сердце моё трепетало: так растерянно стучит оно в жаркой простуде, в какой-нибудь крупозной пневмонии, или перед ожиданием бандитского ножа в подворотне, когда наверняка знаешь, что за тобой идут по следу.

Граша держала мою руку, я в ответ обнял её чудесную талию, холодную, как хрусталь, и мягкую, словно полуденный сон.

— Ваня, зябко и темно, — крикнула вперёд Граша.

— Сейчас, потерпи, ласка моя, — ответил он, не оборачиваясь и ускоряя шаг.

Вовка же обернулся и засмеялся, но тоже по-свойски:

— Сейчас будет трофейное кино. Согреетесь.

Вовка был послушником брата-двойняшки, так же ряб и кос в лице и наверняка посвящён в задуманное.

Тем временем Иван, как мощный циклоп, раздвинул руками весь угрюмый лес, откинул-толкнул камень — и открылся холодный зев узкой пещеры, шагов через двадцать обернувшейся широким тоннелем. Стен во тьме не было видно, но идти стало легко.

Через минуту Иван пошарил где-то сбоку, чиркнул спичкой и зажёл фонарь, неведь откуда взявшийся.

Тоннель сделался как столбовая дорога, а ещё через минуту Иван подошёл к ящикам, это были обитые доской аккумуляторы, пощёлкал — вспыхнул тусклый электросвет.

Я взгляделся и обомлел. Граша ахнула. Мы стояли посреди просторной бетонной ямины с каменными потолками и железными шкафами в длинной сухой стене.

Вдоль другой стенки угрюмыми аккуратистыми рядами выстроились лоб в лоб мотоциклы с колясками.

— Немецкий ухорон, — сказал довольный нашим изумлением Вовка. — Они думали, что через полгода вернутся.

Мотоциклы слабо сияли краской и смазкой, баки были с бензином. В ящиках лежали автоматы; десятки, сотни автоматов, похожих на козлиные ноги; тут же многослойными стопами высились наполненные зарядами прямые рожки, а в шкафах висела вражья форма, чистая, глаженая, и впрямь как в трофейных военных хрониках.

— Вот тебе, Гранёна Евгеновна, полковничий нарядец, — засмеялся Иван, подавая мундир и обширную кожанку с витыми золотыми погонами да нашивками. — Ты будешь наш дер комендант.

Девушка не могла прийти в себя, но всё надела, и чёрно-золотую фуражку тоже.

— А мы с Вовкой обрядимся в полевую форму.

Я был в шоке, как и наша подружка.

— Неужто всё тут столько лет, и никто этого не нашёл?

— Вот я и нашёл, — ответил Иван, надел каску и сразу превратился в угрожающего вояку, каких мы тогда ненавидели столь судорожно, что даже стрёкот слабого кинодвижка за перегородкой дощатого городского кинозала казался нам ответной нашей стрельбой.

— Мы с Вовкой умеем за рулём, а вы с Грашей будете обер-

персоны в колясках. На-ка и тебе, Юрик, кокарду. Ты теперь штурмбанфюрер, иль вроде того.

- Чего ты задумал? Мы что, куда-то поедем?
- А как же! Прямоком к танцам.
- Да за это... Да и не выедешь отсюда.

Иван в ответ ткнул ногой пускач и передний мотоцикл ровно, сыто заурчал. Вовка взметнулся на соседний мотоциклет и тоже одним движением завёл.

— Гранёша ко мне в коляску, Юрик к Вовке. Пуговики на воротниках застегните, автоматы на затвор. Стрелять только вверх.

Это было слишком. Мы с Грашей ослевоенные отпрянули к стене. Топорщащееся из распахнутых шкафов обмундирование целого немецкого мотополка упруго оттолкнуло нас обратно.

- Нет, я не поеду.
- Комсомолец, да? Ничё страшного, мы едем сдавать оружие. Я этот ухорон ещё год назад нашёл, но скажем, что сегодня.

— Тогда можно, — нерешительно проговорила Граша, осторожно села в коляску, подобрав под фуражку волосы и став похожей на самого молодого полковника рейха. — Только стрелять никто не будет, ладно?

Не знаю, зачем я тоже сел. Видно, побоялся остаться один здесь, в этом зловещем тайнике войны. Коляска была удобная, просторная, с ручками.

Фары вспыхнули ярче, осветили ловкий выезд. Мотоциклы рванули с хода, тут же оказались на дороге. Немчура, убегая «на время», всё продумала до наглых мелочей. В ногах у меня были пристёгнуты ящички с консервами, с гранатами, даже кобура с заряженной пистолью.

Автомат я не взял, а Граша, как и братья, перекинула «шмайсер» через плечо и стала вдруг необыкновенно весела.

В Боровичах шумел хоровод — тогда ещё водили хороводы. Девки-перестарки вперемешку с десятилетней мелюзгой, явившейся на этот свет аккурат перед войной, послевоенные пузанчики, выжившие на лебедь (некоторых вскармливали даже паутиной, бережно вынутой из углов, смятой в комочки и ошпаренной кипятком), — все топтались на околице, радуясь тёплой ночи и зрелому лету.

Мы скатили с большака и резко стали по обе стороны гульбища, осветив его ещё никем не забытыми страшными перекрёстными огнями.

- Хенде хох! — заорал Иван чужим, умело переделанным

баском. — Аусвайс! Матка, яйки, курка!

А Вовка наперекор Граше долбанул вверх из автомата сухой, чудовищно знакомой очередью.

Народ разноголосо охнул и кубарем скатился от мотоциклов в жёсткие боковые травы. Только мелочь пузатая села, где бегала, и обиженно разревелась, будто при виде задиристого клювастого петуха.

— Цурюк! — крикнул брату Иван, вылетая с околицы обратно на дорогу. — А вы в колясках оба молчите, ваши голоса сразу узнают! И больше не стрелять!

— Куда мы? — крикнула ему Граша, уже снова в смерть перепуганная.

— К папочке!

— Не надо, Ваня, миленький!

— Надо!

Евген ещё сидел в правлении: тогда силились по примеру московских верховников работать допоздна. Делать было нечего, и Евген играл в карты с хитроумным счетоводом Подпертидырой. Это они называли «считать трудодни».

Фары осветили распахнутые окна и будто сделали в них пожар. Покрытый красным бархатом стол стоял прямо у подоконника и запылал, как жаровня.

Иван, в больших фашистских мотоциклетных очках, просунул дуло сквозь раму и вскричал истинным голосом Геббельса:

— Хенде! Мы вернуться! Кто есть председатель?

Евген и Подпертидыра быстро, словно привычно, вздёрнули руки и разом показали друг на друга.

Иван весело ткнул дулом Евгену на лацкан:

— Хер-рой? Ор-ден?

— Э... это не мой... — враз осипнув и кадыкасто сглотнув, выдавил Евген.

— Воевал с вермахт?

— Нет... нет! Плен, плен! Партизаны за это... чуть не расстреляли.

Евген был жалок, растерзанно требушист, будто посаженный на кол. Здоровые тела его крупно тряслись, а физиономия, вечно блестящая и хищная, сразу вылиняла; и шевелюра, всегда любовно расчёсываемая железной гребёнкой, словно полезла с затылка, обнажая залысины, с которых катились горошины серого пота.

— Яволь, — едва сдерживая ухмылку, сказал Иван. — Список коммунистов на дер тыщ, на стол, шнель.

Председатель, поддёрнув отчего-то сползающие штаны, вынул, судорожно путаясь в бумагах, разлинованную

ведомость уплаты партийных взносов, протянул через окно.

Мохнатая его лапа, что всего неделю назад так зверски отбивала Ивану печень и почки, дрожала, как ножки барашка, ведомого на заклание.

Иван взял ведомость, медленно порвал на неровные куски, кинул обрывки в морду Евгению — и вдруг по-детски зашёлся в неостановимом смехе, сбросив очки и каску, указывая на председателя пальцем и притопывая в хохоте.

— Иван? — завизжал осрамлённый Евгений, и грязные ручьи пота покатили с его башки ещё сильнее, теперь уже от бешеного гнева. — Решу, паскуда, на этот раз точно порешу!

Председатель брюхасто полез в окно, яро торопясь цапнуть шалопута за литую немецкую бляху.

И уже почти цапнул. Но тут трещёткой затарахтел из коляски автомат. Стреляла Граша.

Твёрдой своей левой ручонкой она жала курок до тех пор, пока боезаряд не выбил всю смолистую щепу между окнами; стреляла, плакала и смеялась от страха.

А когда автомат стих, дочь стояла над распластанным на полу отцом, закрывшим голову руками, не желавшим вставать до тех пор, пока не приехали из милиции и военчасти...

Учтя просьбу всех боровичан, Ивану, Вовке и Граше присудили по году, мне и вовсе полгода.

Евгению же вклеили полную десятку.

За то, что отдал список коммунистов.

Совсем недавно я вновь побывал в Боровичах. Боже мой, через пятьдесят с лишним лет, когда мне уж не семнадцать, а за семьдесят... Жизнь прошла — да нет, не жизнь, а пять или целых десять жизней. Каждому человеку в его единый земной срок назначено отведать много совершенно разной жизни.

Меня встретил Владимир Заброта. Он прожил с Грашей все эти полвека и повёл меня к своему дому, к ней.

По законам любовных писаний принято, что главная героиня с годами ничуть не меняется, и в финале всё так же светлы её глаза и притягателен облик. Может, и верно.

От нормально располневшей Гранёны теперь пахло молоком и пирогами — и этот запах был не менее приятен. Разве что не стучало моё сердце, и не душил сладкий обморок, не захлёстывала счастливая волна. Всё стало спокойно, хорошо, по-родственному. То есть, по-стариковски.

— Какой ты был... — с добрым сожалением сказала Гранёна, рассматривая мои обрюзгшие плечи и лицо. —

Рисуешь?

— Куда уж безрукому, — пошутил я и тут же смутился от своей бестактности.

— А она и одной рукой мне четырёх вынянчила, — сказал понимающе Владимир, поджарый, ставший красивым той особой старческой красотой, которая есть награда людям честным и незлобивым. — Сходим на могилу к Ивану?

Иван умер двадцатилетним из-за отбитых почек.

Мы пошли втроём. Боровичи сделались совсем другие, хуже или лучше, не разберёшь. Избы-клуба не было, как и фермы, и тех доярок; осталась Десна-шептунья и закатно-рубиновые гривы лесов.

В пустой песчаной улочке нам попался трухлявый дед, сидящий на завалинке и встретивший нас полупоклоном и какой-то мёртвой улыбкой. Мы прошли мимо, я оглянулся: он смотрел вслед с теми же неподвижно растянутыми губами.

— Странная у него улыбка.

— Так это же Евген. Он такой с отсидки вернулся.

Я заполошно вновь оглянулся.

— Что, посмирнел?

— Куда там... Бригадирил и долго ещё людей гонобил. Делает пакость — и тут же кланяется, и лыбится заискивающе. Головка прохудилась у вражины.

— Хватит, ладно, — мягко попросила Граша. — Значит, сполна заплатил. А сейчас он уже, считай, не живёт.

— Так и земля ему коменем.

Больше не говорили, только здоровались со встречными. Был яблочный Спас, люди шли и тихо светились.

Могилка Ивана была проста, низенька, в ровной ухоженной травке. У креста лежало белое яблоко — цельное и чистое, как душа.

Виктор БОЙКО

«Лишились Біблія і Ти...»

* * *

Твій усміх, що йому затісно в стінах,
малого плач у транспорті міському...
Твоє бажання чи моє хотіння
не віддавати кожного нікому,
окрім отих, без кого нам не тепло.
Цього малого мама приголубить —
сльозинки, мов росинки дві зі стебел,
зцілує з щічок — і солоні губи.

У кучерях голівка у малого.
Бажання чи хотіння їхні наче —
при усміху, котрий од сліз вологий, —
зрідні моїм, твоїм, точніше нашим...
Малий затих. У нього очі сонні.
Удома іграшки і тато, може...
Таке зелене листя на осонні!
Малий — такий на нас з тобою схожий...

* * *

Як страшно, що тебе могло не бути,
мов дня, котрий між сірих заяснів.
Так промінь протина морози куті —
і вже готовий розтавати сніг.

А сірі — що ж! — на те цим будням бути,
аби свого діждавсь, хай і пізніш...
Отак слова, народжені й забуті,
згадавшись, враз складаються в пісні.

Не вірячи в обіцяний гостинець,
од радості в сльозах у дні оцім
стою щасливий, як мала дитина
з крайчиком од зайця у руці.

* * *

Дивитись, як осінній дощ іде,
хвилюючись, у вересні по площі
і в літніх барвах прапори полоще...
Чи хтось питає: «Де ти, де ти, де?»

В бігах щоденних падаючи з ніг,
так важко віднайти себе самого...
То часу обмаль, то немає змоги,
аби по-людськи хтось озватись міг.

Неголосно, ледь чутно з даліни,
не сердячись, не беручи на кпини...
Хоч вкотре пішим дощ батожить спину,
дослухаюся врешті до луни.

Той голос — він до мене. На льоту
чи на бігу. Я знаю, чий то голос.
Всміхнусь обличчям заздрісним навколо
і прокричу, щоб чули всі: «Я — тут!»

* * *

Кладки... Кладки... Через колишні ріки...
З учора в завтра... З нині у завжди.
Не поспішай. Хіба ж ми недоріки!
Зажду тебе. А ти мене зажди.

Обабіч трави, спалені дерева.
Русло забуте. Берег чи причал.
Там — чужина. А з нами кривда кривна.
Якщо хто чув, то, може, хто й кричав.

У чайках, що надгробками вздовж русел.
Оплакати. Нема на всіх снаги.
З криниці п'ють. Чуби вмочають русі.
А їх уже потято. До ноги.

Гриби у лісі заячі. Не рідкість.
Щось заяче у душі — не з води.
Кладки... Кладки... Через колишні ріки...
З учора в завтра... З нині у завжди...

* * *

Глибокі села в приспаних полях.
Осінній бовваніє хтось на белебні,
і сторожко розмотується шлях,
немовби зверху звідкись йому звелено.

Обабіч нього вохра в золотім
пливе собі, туманами цілована...
Унадитись не час іще сльоті,
устигне ж бо і так в село вона,
у кожне, у кожнісіньке, в усі...
Дощами перекреслити їх спробує,
а світ навкруг осі, навкруг осі.
А той усе стоїть, немов пороблено.

Вітрисько зозла сіпає хвіртки,
з гілок од нього повтікали груші.
Туди звертати шляху не з руки,
і місяць вийде в ніч, неговіркий,
дивитися, як той стоїть незрушно.

* * *

Соняхи порушують кордон,
битий шлях із них сміється щиро...
Він лягає під колеса з миром
і не вірить у армагеддон,
бо, живий і теплий серед дня,
все гукає: рухатись не зайве –
то туди, де стрінеться рідня,
то звідтіль, де перестрінуть зайти...
Все одно спішити вам чимдуж
до чийхось призахідних вікон,
а найрадше – до ранкових душ
навсібіч од віку і до віку.
Опадають яблука в саду,
соняхи до сонця хияють лица.
До чиеїсь долі прихилиться
я, кордон порушуючи, йду...

* * *

В біленькій льолі бавиться дитя,
лише б у мами рученьки не терпли...
Давно вже травень: зелено і тепло.
Дитя і мама. Травень і життя.
Оглянешся з транзитного вікна —
уже перон поплив кудись в учора...
Не вмюють солов'ї співати хором.
Дитя і мати. Значить, не війна.
І їх додому стежка поведе —
хатина їхня, мабуть, під горою
в селі, де просто люди, не герої,
не стріти їх ніколи і ніде.
Попарно рейки — вдаль чи з далини.
Дитина й мати — стежечкою в завтра.
Нічого в них неначебто не вкрав ти,
а все здається, неначе завинив...

* * *

Лишилися Біблія і Ти,
де днів німих безликий натовп...
Не втямив Ту, Тебе не встиг,
не зміг чи пожалів пізнати .
В одній — спасіння, в іншій — гріх,
в житті, як в рятувальнім крузі:
холодна хвиля б'є в поріг,
і сонце на вечірнім прюзі.
А далі що там? Темнота
при бездиханнім безгомінні,
і ти — не Ти, і та — не Та
у нескінченності незмінній
лиш імітує істин суть,
а ти на справжню тільки схожа.
Вітри в минуле віднесуть
і сподівання, й сумнів кожен...

Я все бреду без підошов
з-за Лопані чи з-за Дунаю.
А догукався б і знайшов,
та імені Твого не знаю.

* * *

Абрикосовий мед,
певно, буде комусь до вподоби.
Абрикосовий рай.
Жодна бджілонька не омина.
Хоч народжуйся знов,
хоч вертайся назад, до Потопу,
переслідує вперто
духмяна квітнева мана.

Облітає на вітер,
на вечір, на землю, на плечі
абрикосовий сніг
аж морозом за душу бере...
І закута в бетон
не покійна ще річка Нетеча
набирається сил
у своїх бунтівливих джерел.

А слова поховались.
Хмільний, недоречно ізмелеш...
А в очах — пелюстки,
і бджола, і весна, і вуста.
Навіть з глузду із'їхав
один волохатенький джмелик —
щоб до вулика мед нести,
в когось дороги пита.

* * *

Ім'я б не згадувати всує,
чий лик і мертве впізнає.
А сніг скрипить чи голосує
за день, в яким гріхів не є
або не треба, кожне знає,
в житті своїм не мед лиш п'є.
І одне одному навзаєм
хоч голос в поміч подає.
А сніг... Звичайно, він розтане,
На щастя, може. На чие?
Блукає погляд між хрестами.
Шукає Бога. Наче є...
Під куполами дух витає,
сніг на порозі витає...

І дуже довго не світає –
чи в неба світла не стає!
В снігах стихає «алілуя»,
холодна тиша настає.
Вже уві сні тебе цілую.
Мов згадую ім'я твоє.

* * *

Втечу від комп'ютера
в край часнику та цибулі,
де гонор у кастингу
ще не зарізаних півнів,
де друзі дитинства
на цвинтарі новоприбулі
й літак вишиває
по синьому білим опівдні.

Дощів напропорчити б
думці громадській чи зливи,
вода у колодязі
для поливання нетепла.
І лізуть уперто
із саду сусідського сливи,
і стрілки годинника
всохли, як зрубані стебла.

Чекати до вечора,
поки аж сонечко сяде
і заздрити зайве
тому, хто весь вік на осонні.
Живлющій волозі
утреє, усьоме, вдесяте
зболіле коріння
воскресло озветься в безсонні.

* * *

У вікнах смеркне, стежка гукне надвір.
Це двом буває, авжеж, забагато світла...
А я для стежки просто двоногий звір,
один недолік, що маю нехижі ікла.
Зозуля хоче знати, скільки зірок.
А ти не хочеш до мене в порожню хату.
Блукає тиша, в неї нечутний крок,

та чує заєць – на те він і є вухатий.
Так біло скрикне лілія між латать.
Ставок дримає, а місяць у нім холоне.
Дивлюсь, як риби понад греблю летять.
Якби ж то знали, що в морі вода солона!

* * *

Хлопчина й дощик, архітектурний шедевр напроти
уже рятують, мені здається, насправді буцім...
Що мокра спина, зна слобожанський Буонаротті,
і зна Шевченко, що знадобляться міланські бутси.
Будинок чує: підкови бруком, гарячі коні,
внизу ширяють чи парасолі, чи парашути...
І черевика Андрію чистить сам Берлусконі,
а про Тараса йому не видно, йому не чути...
Дощ перестане сьогодні, певне. А може, завтра.
Від риштування на той бік шляху втікають кралі.
Є чистий аркуш. Мовчить машинка, що зветься «Ятрань».
Садок вишневий цвісти не хоче на Кос-Аралі.

* * *

Р. Катаєвій

У Марини була бузина,
горобина – у Римми.
Дощ осінній уже засина –
не встигає у ринви...
Листопад – він і є листопад –
крізь оголені віти
ще недавня весна виступа,
де гуля зелен-вітер.
Вересневилось серед біди, –
і хоч як було важко, –
пробивала наступні льоди
в грудях втомлена пташка.
Їй літалось, як мрії цвілось,
хай не змовкне завчасу,
де між юних дзвінких суголось
долі в ягодах частка.
Злий чи добрий чаклун поробив –
в одкровенні, в невтайні?..
Що у гронах-словах горобин,
хай зима запитає.

Татьяна ГРИБАНОВА

ТРИШКА

Давненько не виделись мы с тёткой Натальей. Под зимнего Николу дай, думаю, отведаю старушку, с праздником поздравлю.

Погода, как назло, взбесилась. Снег в этом году выпал всего как с неделю. До середины декабря морозов не чуяли. А тут, как засвирепело! Замело, закрутило! Но вчера с обеда поотпустило. Минус пятнадцать для русской души – самое то! Подделась поплотнее – и в дорогу.

Тётка моя который год живёт в опустевшей деревне. К дочери в город не съезжает. Не к чему, мол, теперь. Восемьдесят шесть прожила тучочки и остальные, сколь Бог отпишет, доколтыхаю.

Вышла я, на остановке – ни души. До тётки пешком минут сорок. Только шаг наладила, слышу: лошадёнка в спину дышит. Сжалился, видать, Господь, подмогу послал. Зарылась поглубже в сено, и коняга потрусилась в сторону Кривой балки, на краю которой под кряжистым ясенем притулилась тёткина хатёнка.

Мужичок оказался болтливым. За двадцать минут успел обстоятельно прояснить обстановку в Больших Хомутах: света нет (линию в последнюю метель оборвало), и воды тоже нет (то ли башню разморозило, то ли мотор сгорел).

«Бедная моя, несчастная! – забеспокоилась я о тёткиной участи, – ключ под горой за версту». Но, видать, человек наш настолько живучий и бывалый, что тётку Наталью не смогли подкосить такие мелкие неурядицы.

Распроставшись с возницей, торопившимся за дровишками в Куманёв лесок, я постучалась в заиндевевое окошко знакомой кухоньки. Тётка будто поджидала гостей. Вскочила в сенцы, загремела щеколдой. Двери отворились, и она, всплеснув руками и заохав, кинулась ко мне. Время за пять лет ничуть её не изменило. На моё: «Теть Наташ! Да ты молодцом!» старушка хихикнула, а что, мол, с сухофруктом поделется?

Не успела я осмотреться, за окошком начало смеркаться. От жарких ли всполохов печки, от лампадки ли, закоптившей угол горницы, а может, от лампы-керосинки по хате расточались уют и тепло. Вспомнилось детство на хуторе,

бабушкина низенькая хатёнка, допотопная липовая прялка и сушилка с мотками крашеной овечьей шерсти.

Радостная тётка хлопотала у стола, собирала вечерить. Откуда-то взялась бутылочка «Кагора». «Для сугреву. От Пасхи берегла, свяченная». Старушка шмыгнула в кладовку, вернулась со шматком морозового сала. Вынула из печи горшок с томлёными щами.

Я спохватилась, принялась выкладывать подарки. Довольная тётка с удовольствием их рассматривала и нахваливала. Очень ей по душе пришёлся шерстяной подшалок в мелкий розанчик. «Знатной платок-то!» — не удержалась она. Что означало её наивысшую благодарность.

Чай пили с какими-то раздушистыми травами, с козьим молоком и городскими бубликами. Я помнила, что нет для тётки лучше лакомства, чем баранки или бублики с кунжутом и прихватила целую связку. «Мои любимые, с венниками!» — заметила старушка. Зёрна кунжута она принимала за семена веников и обожала ими баловаться.

— Ну, всего нынчи не переговоришь. Умаялась, небось, с дороги. Ложись-ка, вздремни. Завтри повспоминаем. Постелю я тебе разобрала, а сама — на печку. Куды мне от ей!

Не успела улечься, слышу: «Треш-треш, скхрррн-скхрррн!» Живя в городе, совсем позабыла, что в деревенских деревянных домах любят селиться сверчки.

— Поздоровкайся, это — Тришка. У меня всего-то и осталось в хозяйстве: на дворе — коза Милка да в доме — сверчок Тришка. Только я на печь — он за песни. Убаюкивает, балакает со мной, чтоб темени да вьюги не пужалась... Летом-то он на улицу сбегает, а к холодам — опять в тепло норовит. Делит со мной печку.

Я вспомнила старую песенку о том, как у дедушки за печкою жила-была компания, и улыбнулась.

— Мне, милая, от его теперя никуда. Голос Тришин из сотни других распознаю, — продолжала старушка.

— А самого-то видала?

— Как жа! Объявлялси! Ма-а-хонький такой, кузнечик кузнечиком, — тётка завозилась на печи, видать, раздумала спать, поскольку речь зашла о её любимой животинке. — Сверчок — он ведь всегда у нас в деревне в почёте был. Что за хата без его? Помочник, подсказчик семейной. Ишо бабка моя говаривала: «Коли сверчок хату покинет или из-под печки на серёдку высигнет, быть худу вскорости».

— Тётъ Наташ! В приметы, что ль, веришь?

— Как же, милая, не верить? Поверишь, коли петух

жареный клонет... Вот ведь в том годе, как пожару случись, сижу я, картохи чищу. В хате тишина. А он — прыг-скок из печурки и прямо передо мной замельтешил. А в ночь амбар занялся. Полымя на хату перекинулось. Как отстояли (ветер был жуткий), ума не приложу... Как не поверить?..

— Простое совпадение, — ввожу в сомнение старушку.

Но её голыми руками не возьмёшь. Ни за что не позволит в сверчке своём разувериться.

— Какое там совпадение! — доносится с печки. — А как такое дело понимать, растолкуй ты мне, будь добра. Пишет мой Миколай с фронту, скучаю, мол, шибко... хата всё снится... сверчок свиристит... А через неделю, следом за его письмом, похоронку получила. Не веришь — заглянь на Божничку... Там они... треугольнички-то... Только главного я тебе покаместь не сказала. Как получить то письмо злосчастное, лежу я на печи, согреться не могу, пришла с окопов (фронт подкатился по той поре аккурат под нас), лежу, значит... руки поверх одеяла... Ещё и не спала вовсе, чую: прыг сверчок прямо на ладонь... и криком кричит. Сердце оборвалось. Смекнула сразу: дети при мне, посапывают, значить, с Миколой беда. Так и случилось. Под Сталинградом могила-то его, ты же знаешь, — тётка вздохнула и примолкла.

А сверчок трещал и трещал. Монотонно, словно кукушка в лесу. Передохнул секундочку и опять за своё.

Показалось, что старушка уснула. Но, видать, разбередила я её своим приездом.

— Вот... ты как полагаешь, чем он, шельмец, поёт? — послышалось вдруг с печки, — не догадаешься ни за что! — и сама тут же ответила, — потирает проказник подкрылками по задним лапкам. А они у него в рубчик. Так и трыкает Трища мой об них ночь напролёт. Я за ним, как за каменной стеной... Коли усну — он начеку... Ничего со мной до сроку не подеется!

— Любишь ты, тётушка, своего постояльца!

— Люблю, как не любить. Только какой же он постоялец? Он — самый что ни на есть хозяин, домовик!.. Лексевна, соседка моя бывшая, отродясь скрыпу ихнего не переносила. Словила-умудрилась одного да прихлопнула. А на другой день — из самой дух вон.

— Сомневаюсь я. Сказки всё это.

— Какие тебе сказки-байки, коли душечка наша, как заснёшь, принимает его обличие... Как же изничтожить?.. Все у нас на хуторе знают, акромя тебя... А потом... знаешь, от чего у Шульженки голос такой? С утраца натоцк настой

из сверчков принимала. По две капли на ложку козьего молока. Только непременно от рябой однорогой козы.

— Ну! Это уж точно басни! Чепуха какая-то! — возмутилась я

— Ничуть, не чепуха! — обиделась тётка Наталья. — Ты послушай-ка завтра пластинку: поскрыпывает голосок-то у певуны.

— А чем же ты своего артиста кормишь, не яйцами ли всмятку?

— Дык чем, чем, — ласково заворчала старушка, — знамо чем — отрубями. Их за печуркой цельный мешок. От пашала прожариваются. Домовик там и столуется-подъедается сколь надо. А летом — на вольные хлеба уходит, на зелень.

Наконец, неумолчный сверчок убаюкал тётушку, а я всё ещё бормотала пришедшие из далёкого детства стихи Барто:

То близко сверчок,
То далёко сверчок,
То вдруг застрекочет,
То снова молчок.

Тришка солировал до рассвета. И всё одним-единственным номером. Постепенно я привыкла к его стрекоту. Это однообразие не раздражало, не надоедало и не утомляло.

Вспомнилось: когда-то и в нашей хате жил свой хранитель домашнего уюта. Да и у соседей по вечерам тоже пиликали сверчки. Ночи напролёт устраивали они сольные концерты, а к утру хаты выстывали, и они смолкали, напоминая хозяйкам, что пора топить печи. А ещё жил сверчок под полком нашей бани. Похлёстываешь, бывало, веничком берёзовым в лад сверчковой песенке «рразз-рразз». Жил-поживал сверчок в тёплой баньке и в усы свои длиннющие не дул. Холод не докучает, еды хоть отбавляй — веников в предбаннике тьма. А что ещё для счастья сверчиного нужно?

Размеренное «крри-крри» так меня убаюкало, что очнулась я, когда утро уже гляделось ясным морозным солнышком сквозь расшитые цыплятами занавески. Тётка Наталья потопала в сенцах валенками и вошла в горницу. Следом в промёрзлую дверь вкатились клубы молочного пара.

— Проснулась, голубка моя, ну, поднимайси. Милку подоила, утречать станем. Драников настряпала. Стынут.

За завтраком опять затолковали о ночном музыканте.

— Да я, поди, уж и всё про него выложила.

Заинтересовалась? Ну, коли ещё чего прознать желаешь, дак поди к Лукьяну на хутор Степной. Деда этого по имени не кличут, всё Сверчок да Сверчок. Сказывают, помешался он на этих букашках.

Интересно, как может деревенский дед на сверчках тронуться? Не откладывая в долгий ящик, чтобы оборотиться до темна, откопала в чулане старые лыжи, выдернула из горожи пару орешин и покатила на Степь.

Сколько лет минуло с тех пор, как в детстве ползала по этим пригоркам на салазках и лыжах с деревенской ребятнёй!

Местность наша холмистая. С горочки — на бугорок, то стрелой вниз, то ёлочкой вверх. Мороза не чуяла, даже в жар кинуло. Взятые напрокат тёткины валенки посеребрились, воротник шубника от морозного дыхания заиндевел. Декабрьский полдень играл на снегу дробными алмазами. Встречавшиеся на пути ракитки разукрасились игольчатым инеем.

Не успела притомиться, уж дымком потянуло, а там — и хутор на ладони.

Тётка Наталья в точности описала Лукьянову хату, и я, скатившись в низинку, притормозила у распахнутой калитки.

Залаял кудлатый пёс, и навстречу в телогрейке, ватных штанах и в валенках с подвёрнутым верхом и подшитыми задниками вышел сам Сверчок.

Дед этот иначе никак не мог называться. Кличка здорово ему подходила. Росточком низенький, гномистый, глазки маленькие, шныркие. Походка прискакивающая. А самое главное: длинные тонкие усики. Ну, сверчок да и только.

Дед потёр руками, словно лапками, и засвиристел сквозь пару оставшихся зубьев.

— Кого это к нам принесло? Не прозябла ли с дороги? Не останешься ли переночевать? Не растопить ли пожарче печку?

Дед трещал, а я не успевала отвечать. Да ему, как видно, это было и не нужно.

Обив корявым берёзовым веником льдинки с тёткиных катанок, прошмыгнула в тепло.

Скромное убранство хаты подсказывало, что Сверчок или век прожил бобылём, или давным-давно овдовел. На длинном нескобленном столе громоздился самовар. Дед чаёвничал в одиночку и очень обрадовался неожиданной

гостье. Снова раздул угольный самовар, доложил в него сухих вишнёвых веточек. Налил мне в чашку, а себе в блюдце и, указав на место поближе к печке, приготовился слушать. Сразу было видно, что это его любимое занятие.

— Говорят, дедунь, ты со сверчком дружен? — не стала ходить вокруг да около.

— Это ктой-то говорит? — насторожился дед.

Смекнула: надо поменять тактику. И, будто не слышала вопрос, решила польстить старику.

— Знаток, говорят, Лукьяныч большой и ценитель их пения.

Дед одобрительно крякнул и сверкнул хитренькими глазами.

— А пошто они тебе сдались, сверчки-то?

— Я, дедунь, о всяких увлечениях пишу. «Хобби» называются они по научному. А у тебя очень уж необычное.

— Ну... коли так, расскажу, что знаю, и ребяток моих покажу... Чего ж не показать-то?.. А ты пропиши об них. Пущай ... может, кто ишо заинтересуется.

Я достала блокнот, дед степенно допил чай, утёр усы, расправил их, как подобает Сверчку, полез в печурку. Достал и бережно поставил на стол собранный из спичек многоэтажный дворец, состоящий из комнаток коробочек. Выдвинул одну из них. Смотрю: в уголке бурый, миллиметров двадцати сверчок. Дед полюбовался и задвинул комнатку на место.

— Ну, взглянула? Их у меня двадцать пять головок. Об чём разговор будем вести?

— А что же, дедушка, жильцы этого чудо-домика молчат?

— Дак день же. Спят мои родные.

— Как же так случилось, что ты не охотой занялся, не рыбалкой, а сверчками?

— А куды деваться-то? Энтим делом, милая, весь род наш увлекался... С деда мово пошло. Как ушёл он на Японскую, так и заболел сверчками. В плену два года провёл, выучился с ими обходиться.

— А что же, сверчкам какой-то особый уход требуется?

— Ды какой там уход! Едят всё, что мы любим. Главное для сверчка — тепло. Чуть ниже + 25, а ему уж не по себе. И петь перестаёт. А песня — главная его заслуга, дело жизни, прямо скажу. Ить его можно вовсе никогда не видеть, но не знать о его присутствии невозможно. Каждый вечер трели выдаёт. И не смолкает до утра.

— И чего им в тишине за печкой не сидится? С чего петь-то?

— А пошто квачут лягушки? Пошто соловей

запузыривает?.. Вот... то-то и оно... И сверчки за тем же поют: самок подманивают, а самцов гонят прочь.

— Не каждый выдержит его сверчение, ведь если он заведётся, то слышен в самых потаённых уголках дома.

— Поначалу, может, и необычно, но попривыкнешь, и не станет для тебя нежней и приятней песни, чем сверчиная.

— Со вчерашней ночи стоит в ушах его стрекот.

— Не стрекот, а музыка, — поправил старик, — бывало, посадит дед на колени и растолковывает мне, несмышлёному, про сверчиные напевы. Дед мой много чего про них у японцев прознал. В Японии энтой трели ихние, ох, как ценятся! Соревнования меж ими устраивают. Кто, мол, складнее выдаст. Это у нас сверчок копейки не стоит, а там животинка эта важная. Большие деньги на них делают... Мы всё щеглов да канареек в домах содержим, а японцы — сверчков.

— Да... точно! Кажется, где-то читала, и в Китае их тоже почитают. Даже на Новый год дарят, мол, счастье в дом стрекотаньем зазывают.

— Старики в Японии считают, что пение этих насекомых дарит им долголетие и покой. И поэты, и музыканты, и художники, даже тибетские ламы занимаются разведением и воспитанием сверчков. Нет на Земле места, где бы не уважали сверчков. Дед говаривал, императоры японские заказывали для своих любимцев золотые клетки. И во дворцах, и в хижинах слушают японцы ихние трели... Сверчок — вещица полезная. У нас привыкли — мамки, няньки, а япошки поставят рядом с младенцем коробочку со сверчком, и тот без умолку колыбельные распевает.

— Жаль, не знала раньше. Дети выросли. Внуки появятся — обязательно попробую так убаюкивать.

— В старину сверчка-то на Руси циркуном кликали. И говаривали о нём с уважением. Считалось: сверчок поёт — Бога хвалит... А что же это мы про чай забыли? Совсем простыл, — дед хрустнул кусочком сахара, прихлебнул с тарелочки и, показалось, на минутку задумался, о чём бы ещё рассказать. Но тут же встрепенулся и продолжил.

— Не поверишь, но для сверчков есть особые базары.

— Представляю, какой там стрекот стоит, — улыбнулась я.

— Чёрный сверчок стоит намного дороже, чем бледный, серенький, — пояснил дед Лукьян и подлил чайку, — ну, это всё в Японии, а мы сверчка привыкли слушать зимой — за печкой, летом — в лугах. Хоть и поют они летом слаженным хором, но любят одиночество, потому и драчуны-забияки отменные. Мы с Петром, братом моим, цельные бои

устраиваем.

— Надо же, сверчковые бои! — так и ахнула я.

— Что, любопытно? Ну, коли заночуешь, может, и удастся увидеть оказию, — пообещал Сверчок, — только за Петром добегу.

Уехать и не посмотреть на такую диковинку я, конечно, не смогла. Захлопотала с ужином, а Сверчок отправился на другой конец хутора за младшим братом.

Оказывается, в детстве играли они в сверчиные бои, как мальчишки в футбол. Так и не смогли остановиться, увлеклись на всю жизнь. Полхутора собирается порой взглянуть на необычное зрелище.

Пётр, конечно, не отказался похвастаться своим воспитанником, и через двадцать минут деды затопали у порога. Брат Лукьяна как две капли воды на него похож: те же шустрые бусинки-глазёнки, те же потирающие друг друга ручки-лапки, и только усы отличались от Лукьяновых — куда длиннее. «Ещё один Сверчок!» — невольно подумала я.

Наскоро поужинав, освободили стол от посуды, и дед Лукьян принёс сложенный для таких случаев крошечный ринг. Посередине — сетка, чтобы бойцы до поры не набросились друг на друга.

Деды высадили из коробочек сверчков и дали им освоиться. Заприметив друг друга, соперники принялись готовиться к бою: передними лапками растёрли щеки и глаза (так же, как умывается кошка — склоняя головку то на один бок, то на другой), челюстями помассажировали лапки-ножки, ртом начистили до блеска шпаги-усики. Братья раззадоривали своих питомцев — шевелили соломинками усики и почёсывали брюшка.

— Пора! — старший Сверчок кивнул младшему, и тот убрал разделительную сетку.

Сверчки тут же бросились в атаку. Таким бойцовским качествам позавидовал бы любой боксёр. В ход шли и лапки, и крылья, и челюсти. Всеми силами драчуны старались опрокинуть соперника на спину или вообще вытурить подальше с поля боя.

Глаза у дедов горели, они кружили вокруг стола и внимательно следили за исходом боя. Но помалкивали, лишь изредка вскрикивали или громко вздыхали. Видно, уговор у них такой — не вмешиваться.

Наконец, Лукьянов ученик ухищрился завалить Петрова подопечного на бок и лапками, словно какой валик, перекатил на спину. Победитель оглушительно просверчел

и отскочил в сторону.

– Надо же! Какое благородство! – подивилась я.

– Закон природы – лежачего не бьют, – пояснил Лукьян.

Деды только в азарт вошли, а бой уж закончился.

– Надо бы отыграться, – предложил Пётр.

– Ну что же, можно и ишо разок.

Пётр подкинул сверчка, тот взмахнул крылышками и приземлился на табуретку. Тогда младший Сверчок подсуетился ещё раз и, ловко изловив своего бойца, подкинул его снова.

– Чтoб злости поднакопил, – растолковал Лукьян.

И вновь соперники сошлись в поединке. Чувствовалось, что сверчок деда Петра уже подустал, а может, и впрямь был слабее. Взяв верх в прошлой схватке, Лукьянов самец ощутил вкус победы и, расхрабрившись, так больно укусил противника, что тот упал на спину и отчаянно заперебирал лапками, дав понять, что сдаётся окончательно.

– Перекормил ты его, братец. Увалень, а не боец, – поддел Петра Лукьян, – говорил же тебе: отруби отрубями, но и яблочка подкинуть не забывай. Для разгрузки.

Я удивилась, услышав разговор о рационе и питании. Словно передо мной не деда, а тренеры серьёзных спортсменов. Для братьев же разговор этот – обычное дело.

– Молодой он ишо, – сопротивлялся Пётр, – погоди, через месячишко войдёт в силу, задаст твоему бугаю трёпку!

Ночью победитель ликовал и выдавал такие трели, что к утру я стала находить в них сходство с соловьиными руладами.

По зорьке, распрощавшись со Сверчком, двинулась в обратный путь. Тётка Наталья теперь все глаза проглядела. Как пить, задаст за то, что осталась у Лукьяна на ночевку.

Выехала за бакшу, слышу: дед кричит мне что-то вослед. Возвращаюсь, смотрю: вынимает из овчинной рукавицы коробочку.

– Подарок от меня. Пусть у тебя дома поёт, о нас напоминает.

Поблагодарила я старика. Запихнула коробочек в варезку, а её – за пазуху, чтобы певец не застудился. И – скорее к тётке.

Выговорила она мне, конечно. Не без этого. Но, заглянув в коробочку, смягчилась, оттаяла. Сверчка я назвала, как и

тёткиного, – Тришка. Очень уж понравилась кличка. Вот уже месяц, как он живёт в моём доме. Трещит-сверчит без умолку! Чтобы не замолчал, кормлю его, по совету Лукьяна, досыта. Говорят, голодные сверчки не поют. Слежу за рационом.

Пронырливый оказался Тришка. Как-то ночью включаю свет, смотрю: он у Барсиковой миски. С тех пор подкладываю ему под батарею (он её сразу облюбовал) «Вискас», пусть лакомится. А уж он в благодарность сверчит-заливается!

Юлия КОПЫЧКО

Я ДАЮ ТЕБЕ В РУКИ СВЯЩЕННЫЙ ЕЛЕЙ

АВТОГРАФ

Может быть, это даже не стоит чернил —
«суета и томление духа»! —
чтобы кто-то стихами листки исчернил,
чтобы кто-то их слушал вполуха...
Но, как мост на шершавые плечи опор,
или в засуху — дождь — на покосы,
так всей сутью наляжет и ввяжется в спор
пара строчек, набросанных косо.

ПАМЯТИ ПОЭТОВ

Тяжелая капля сорвется с весла,
ударит в речную мембрану...
О, Стикс! Ну, хотя б камышом заросла
вода твоя — чёрная рана!
Так не зарастёт ведь — кричи, не кричи...
И стынут погасшие лица,
чтоб в тёмном безлунье, в туманной ночи
белёсым пятном раствориться...
— Да где ж вы?! — Не видно ни зги, как назло.
Туман неподвижен и нежен.
Но — слышишь? — размеренно плещет весло:
всё дальше... всё тише... всё реже...
Всё в мире — вода! Всё течёт и течёт,
живя, умирая, рождаясь,
чтоб вновь умереть, чтоб родиться ещё —
как волны, как слово, как завязь...
Всё в мире — проходит, и это — пройдёт,
как все мы проходим однажды.
А что остаётся? — Светил оборот
да эта вот странная жажда
бродить и бродить лабиринтами слов,
угадывать путь Минотавра...
Потомки языческих жарких костров,
наследники Скифа и Мавра,

невольники чести, солдаты судьбы...
А лодка скользит молчаливо...
Вас ивы целуют в холодные лбы —
над Стиксом нависшие ивы...
Всё — только вода: времена и стихи...
Их вечность лениво лакает.
Но — слышишь? — кричат за рекой петухи,
сквозь морок рассвет выкликая!
И строчки, как стрелы, взлетают и бьют
по цели, отточено-ёмки...
...А там, под Ахтыркой, пьют воду и пьют
те кони, и фыркают громко...

БАЛЛАДА О ПУТНИКЕ

... В холодной плоскости зеркал
мелькнув случайным отраженьем,
ты шел, спеша, и не искал
звезды шальной, звезды блаженной...

И, отстраняя гнев и плач,
и чьи-то пламенные речи,
ты одиночество, как плащ,
себе набрасывал на плечи...

Чем дорожил — о том молчал,
и не надеялся на Бога,
и одиночество с плеча
спадало складками, как тога...

Но ничего не взяв в расчет,
ты брал негромкие аккорды,
не сожалея ни о чем,
ведь одиночество — для гордых!

...А ветер, как всегда, в лицо;
а путь — непрост, и день — недолог,
и солнце желтым колесом
закатится за синий полог...

И можно жить, и умереть,
но так и не найти Мессию,
а, может, просто — не успеть...
Но одиночество — для сильных!

И, не стыдясь и не скорбя
(что — зеркала? Они — невежды!),
я примеряю на себя,
твои пути, твои одежды...

* * *

Осень, осень! Ты так незаметно
серой сетью сердца обовьёшь...
...В прахе — бронзовом, ржавом и медном —
позолоты сусальная ложь...
Ветер слижет её, обглодает,
как добычу, ни с кем не деля,
и под ней обнажится седая
от ночного мороза земля.
И взамен облетающей блажи
мы распробуем правду — на вкус.
...Горьких ягод обильная тяжесть
пригибает калиновый куст...
Осень, осень! Зачем притворяться?
Нам ведь нечего, в общем, скрывать.
Мы уходим — легко. Без оваций.
Без боязни строку оборвать;
без печали, что нас очень скоро
позабудут друзья и враги;
без желания выиграть в споре.
Без попыток замедлить шаги.
Осень, осень! Ты так неизбежно
доиграешь свой пасмурный джаз
и туманностью пепельно-нежной
всё затянешь, и скроешь от глаз...
Так давай помолчим напоследок,
чтобы в память впечатался миг:
в небе — арки рябиновых веток
и горящие гроздья на них.

БЕРЕСТА

Три реки берегли этот город.
Три холма — хранили покой...
Благовещенского собора
темный камень за бледной рекой.
И — крестом на плечах его — бремя
стольких лет! — и тяжек тот крест...

Старый город.
И смутное время,
не похожее на благовест;
суматошное, точно галка,
что, крича, с колокольни слетит...
Часом «пик» разворошен, как палкой,
муравейник метро кипит...
И людской поток темной пеной
тек и тек, колыхаясь слегка,
по еще не стертým ступеням,
по окуркам, оберткам, плевкам —
и выплескивался на камни
старой площади — в уголке,
где извечный лоток с пирожками,
где старуха в красном платке
сыплет семечки мимо карманов,
птиц приманивая на газон;
где торгуют небесной манной
и подснежниками — в сезон.
И вот там, на шершавой стенке, —
островком такой тишины! —
как лампадки, светились оттенки
на рисунках берестяных...
Точно изморозь на окошке,
тонко выписан каждый штрих.
И, давно и насквозь продрогший,
у стены — тот, кто создал их. ...
Силуэты церквей и деревьев
на кусочках сухой бересты —
и уводят тебя сквозь время
переброшенные мосты...
Но среди ажурных пейзажей
выделялся мгновенно, как вскрик,
в этом уличном вернисаже —
Божьей Матери странный лик.
И хотелось понять, взглядеться:
да зачем же она — в миру,
прикрывая рукой младенца, —
здесь, на площади, на ветру?
Здесь, в холодном, сквозном апреле,
где и камень — застыл, озяб!
...А с куска бересты смотрели
на меня — живые глаза.
...Я не знаю, какую силой
на кору — кто-то взгляд перенес.

Но глаза чуть тревожны были:
в них темнел безмолвный вопрос.
И не знала я, что ответить,
натолкнувшись на этот взгляд...
...Чем-то колким швырялся ветер
и отшатывался назад.
И неловко, к паре бумажек
торопливо прибавив монет,
я ушла, унося два пейзажа.
А икона — смотрела вслед.
...Я ушла. Я была — не готова.
Я еще не нашла ответ.
Но, найдя, — я приду к ней снова,
по ступеням дней — или лет...
Я вернусь — с тем же самым ветром,
в этот город и в этот апрель.
И его ледяное ретро
разобьется о птичью трель!

В КАНУН РОЖДЕСТВА

В канун Рождества
тучи разом поплыли,
как занавес,
высвобождая пространство
до дна, где колонны деревьев застыли
под солнцем, отбеленным холодом странствий;

где галки в верхушках загадочно-молча,
как ноты, сидят в ожиданьи блаженном;
где старые сучья украдкой, по-волчьи,
следят из-под снега за каждым движеньем...

И только рябина, опять выпадая
из чёрного с белым, из гаммы всеобщей,
стоит — вся веснушчатая и рябая,
горит на морозе; горит — и не ропщет!

И к ней на огонь, точно хлопья метели,
от леса, что весь занесён и завьюжен,
летят и летят, щебеча, свиристели —
в канун Рождества на рябиновый ужин,
в рябиновый рай, где спасенье и кров им...
Свистят свиристели — и живы, и сыты;

и ягодой — снег окроплен, будто кровью,
и ягоды — снегом Прощенья укрыты...

(О, снега мне, снега! О, сыпь непрестанно —
на красные брызги, на черную карту
земных полушарий — с крестами, с крестами!
О, снега мне, снега! — хотя бы до марта,
хотя бы до первой звезды — или вздоха
последнего: «...имя Твое... Да пребудет...»)

К подножью снегов припадает эпоха
в канун Рождества — умоляя о чуде...

* * *

Дочери Евгении

Спи, девочка... В саду твоём — весна,
а время — к полночи, и лунный круг — к морозу...
И маечка тебе чуть-чуть тесна,
и в этом — вся поэзия и проза,
все таинства ночей и суть миров
и строфы предстоящих равноденствий...
Ты спишь — но чутко вздрагивает бровь.
Ты где-то там, на перепутьях детства,
на перекрестках зреющих времен,
на зыбких горизонтах ожиданий...
...Вселенная — всего лишь чей-то сон,
взорвавшийся цветущими садами,
ветвящийся в кругах орбит и правил,
откладываясь кольцами в стволах...
Из корня одного — любовь и страх.
Две тени полнолуныя — Каин, Авель
от века смотрят в каждое окно,
и океан терзает туши пляжей...
Все будет так, как это быть должно.
Как упадет перо.

Как карта ляжет...

Гаданьями души не бреди —
они не больше, чем прогноз погоды...
Спи, девочка. Ещё все впереди.
Спи, девочка.

Земля насытит всходы,

и — до краев, до нежности глубинной
заполнит чашу ночи — тишина...
Луной сочатся крестики жасмина...
Спи, девочка.
В саду твоём — весна...

ПЕСНЯ О ПИОНЕРСКОМ

На краю материка,
у границ земли российской,
ветерок шалит балтийский —
стаей гонит облака.
В стороне от всех дорог,
на распаханном просторе —
только берег, только море,
да над морем — городок.
Сотни лет живущий дерзко
между сушей и водой,
Пионерский, Пионерский,
городок рыбацкий мой.

Ремесло, как мир, старо —
соль на спинах дни и годы, —
перепахивая воды,
братъ «живое серебро»!
Крики чаек за кормой;
небо с морем — цвета стали,
и размеренно, устало
сейнера идут домой.
В ребра мола зло и резко
бьет тяжелая волна.
Городок мой, Пионерский,
жизнь, как море, солона.

Пусть удачу посулят
камни берега родного,
длинной улицы подкова,
тополей знакомых ряд.
Маяка блеснёт огонь —
в этом мире нет покоя!
Но легла на грудь прибоя
пляжа светлая ладонь.
Еле слышный голос детства,
дуги старой мостовой.

Пионерский, Пионерский,
городок рыбацкий мой.

Остывая, дюны спят;
сосны шепчут былль за быллю,
и пылающие крылья
над водой простёр закат.
Море плавится в заре.
Век людской — такая малость!
Только сердце здесь осталось,
точно мошка в янтаре.
Тают солнечные фрески,
волнорезы хмурят лбы.
Городок мой, Пионерский,
строчка песни — и судьбы.

ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО

Думал ли; хоть когда-либо думал ли ты,
сколь в очах Моих ты многоценен?
Я взращу в твоих помыслах свет чистоты;
Я, любя, проведу тебя к цели.
И, когда искушенья восстанут, как вал,
и нахлынет рекой вражья сила —
Я хочу, чтобы ты без сомнения знал:
от Меня это было.

Я хочу, чтоб прибегнул ты к силам Моим,
ибо в этом твоя безопасность.
Если трудно тебе, ты не понят, гоним —
Я — Бог твой; это мне лишь подвластно.
Не бывает случайных уроков в судьбе:
чтоб смиренья душа не забыла,
это место твое Я назначил тебе:
от Меня это было.

Если ночью разлук ты скорбишь в тишине,
если терпишь нужду и лишенья —
Я хочу, чтобы ты обратился ко Мне
и во Мне отыскал утешенье.
Обманулся ли ты в лучшем друге своем,
клевета ли тебя оскорбила —
предоставь это Мне. Вспомни слово Мое:
от Меня это было.

Промышлению все предоставь Моему;
все решенья, что давят на плечи.
Непосильна их тяжесть тебе одному;

Я за все, что случится, отвечу,
ибо в мире ты — только орудье Мое.
Неудача ль тебя посетила,
охватило ль уныние сердце твое —
от Меня это было.

Я хочу, чтобы сердце твое и душа
пламенели всегда, не сгорая!
Я, надежды и планы твои сокруша,
крепость веры в тебе испытаю.
Я хочу, чтобы ты Меня глубже познал,
чтоб молитва твой путь озарила;
чтоб в болезни и немощи ты не роптал:
от Меня это было.

Я даю тебе в руки священный елей,
чтобы сердце твое не остыло,
чтобы в каждом событии жизни твоей
ты прочел: от Меня это было.

Научись Меня видеть в помехе любой:
в этом — мудрость, свобода и сила!
Для свершений души — все, что послано Мной.
От Меня это было.

Владимир КОПЫЧКО
«МЕРИЛОМ СЛОЖНОСТИ
НАМ СЛУЖИТ ПРОСТОТА...»

...Когда желанья и мечты
нас ловят в шелковые сети,
нетерпеливы, словно дети,
мы забываем все на свете...
И поцелуев жаждут рты...

Нам мнится, что еще чуть-чуть —
и мы постигнем смысл и суть,
нарушив таинство истока
и, поклоняясь красоте,
ее отыщем в наготе...
Но как же эта суть жестока!..

...Протяжно время холодов.
Редки подарки ...
Все здесь останется — любовь
и душ огарки...

Приемля тайну расставаний,
причешет ласковая осень
твои соломенные косы
над тихим омутом желаний...

Я — между летом и зимой,
ты — между суетным и сущим,
но, заклинаю Всемогущим,
побудь еще чуть-чуть со мной...

Мерилом сложности нам служит простота...
Когда уснули краски, замолчали —
как много скажет нам всего одна черта,
которой раньше мы не замечали...

...Среди обломков рухнувшей мечты
я вновь ищу знакомые черты,
их сохранить пытаюсь для чего-то,
но ощущение пустоты
приходит вслед
за ощущением полета...

Подвешены на нитях бытия,
мы ищем в них опоры и защиты,
но судьбы наши всем ветрам открыты
и ход их знает только Судия...!

Пусть прошлое уходит, не скорбя...
Но чем же мне благодарить тебя,
о, время зрелости,
за царственную щедрость?!

... Молчать торжественно и не ломать игры,
и не искать решения загадок...
Срок ожидания своей поры
порою сладок...

Внимая бегу стылых вод
исходит соком потаенным
лоза...

Слеза...

Твои глаза...

Оставьте молодость влюбленным!

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

Александре Петровне Лесниковой

Александра Петровна, Александра Петровна!
В этом мире изменчивом слово — условно...
В этом мире не сказочном годы и даты
к нам приходят, безжалостно требуя платы...

Мы должны им, конечно, мы должны, безусловно,
Александра Петровна, Александра Петровна...
Мы им платим за искренность, и постоянство,
и за то, что неистовы, не приемля мещанства,

и за то, что — от Бога, и за то, что мы — люди,
и за то, что дорога всех нас с миром рассудит...
Александра Петровна, Александра Петровна...
Должники и заложники, платим покорно

за растоптанный колос (ненароком, случайно!)
и за то, что дан Голос, отверзающий тайны,
и за то, что к свободе все мы дышим неровно...
Александра Петровна, Александра Петровна...

Впрочем, что же я снова все о бренном, о бренном?
Вам дано «просто строчки» сделать Словом нетленным,
отыскать между пауз, интонаций и тона
затаившихся истин сокровенные зёрна,

отдавая их людям беззаветно и скромно...
Мы Вас любим и помним, Александра Петровна!

ТРАВЫ ЗАБВЕНЬЯ

О, травы нашего забвенья!
О, ты, дикорастущий хмель,
в оцепененье отрешенья
попавший, словно пуля в цель, —
тебе подвластны и доступны
что крепость стен, что прах могил,
твои побеги неподкупны,
слуга неодолимых сил...
Скрывая от людского взора
разрушенное бытие —
азарт побед, слезу позора,
плетёшь ты царствие своё —

лучи живые поглощая,
а мертвым — оставляя тень...
Так время, страсти укрощая,
смиренью учит новый день...
О, травы нашего забвенья!
О, даль волнующий ковыль,
из поколения в поколение —
творящий миф, седой, как быть,
плывущий призраком над степью,
вплетая в разум миражи...
Какою неразрывной сетью
ты укрощаешь жизнь, скажи!
Седыми волнами лаская,
ты клонишь долу небеса...
И память, руки опуская,
простоволосая, босая,
уже не веря в чудеса,
бредёт и множит голоса,
нам словом души исцеляя...

РОМНЫ

Тиха и ласкова, Сула
текла внизу горы Покровской —
вода прозрачнее стекла...
И пацаны, черны и ловки,
как стайки шустрых рыб, легко
вдоль берегов её сновали —
ловили пескарей-мальков,
до синих губ себя купали,
играя в вечного «квача».
Потом, упав в песок горячий,
сражались в карты, хохоча
над проигравшими, дурачась...
О, время молодых невежд,
не ищущих в себе иное —
простых, доходчивых надежд
и беззаботного покоя!..
А на верху горы — базар:
клубника, куры, тряпки, рожи,
азарт и гам торговых свар,
и — джинсы, что всего дороже...
Не «LeviS»а, до них куда —
простые джинсы из Кореи —
но шесть рублей! Вот это да!

От суммы этой холодея
и понимая — не дадут,
я ныл, канючил что есть мочи:
— Мам, ну купи мне джинсы тут,
с заклепками, ну надо очень!..
Но для родителей моих
та блажь была фальшивой ногой:
— Переживём и этот «псих»,
а хочешь джинсы — заработай!..
Тогда собрались мы втроём —
нам в среднем было лет двенадцать —
со щебнем разгрузить вагон
(а за него платили двадцать).
Я, брат двоюродный, сосед —
его уж нет на белом свете
(что вы хотите, сорок лет
тому назад нас звали «дети»!)..
Лопата щебень не берет,
воды осталось лишь пол банки,
а солнце наши спины жжёт,
и припекают плоть водянки ...
Что — джинсы! Могут подождать.
Но сдаться? — Слово незнакомо!
За взмахом — взмах, за пядью — пядь...
Вот показалось дно вагона...
Как всё-таки приятен звук,
когда железом по железу!..
Огнем горят ладони рук,
но все равно в карман я лезу,
чтоб ощутить в руке «трояк»,
который заработал честно ...
Что — джинсы?.. В общем-то — пустяк.
Но — выдержал, вот это — лестно...
Легко осыпались года,
шурша речным песком с коленей —
уже не та в реке вода,
иные векторы стремлений,
иная жизнь в иной стране,
не те и судьбы, и герои,
и нет уж истины в вине,
и солнце в небесах иное...
Та жизнь, что нас детьми звала, —
нам тенью вслед скользнёт неброской...
Тиха и ласкова, Сула
течет внизу горы Покровской...

ЦЕЛЬ

Не всем дано достичь своих Америк,
пройти через шторма, не сбившись с румба:
лишь тот, кто смел, откроет новый берег,
кто верит, тот осилит путь Колумба.

Не отступить, приняв на плечи ношу,
глуша работой все, что наболело,
жить — будущим и не жалеть о прошлом,
и, не сгибаясь, просто делать дело...

И так ли важно, где твои вершины,
каких морей ты покоряешь воды:
преодолеть — как суперцель мужчины
и победить — как суперсмысл свободы!

ИДУЩИЕ ВСЛЕД

Те, кто придут за нами вслед,
фатально с нами незнакомы —
приняв в наследство лунный свет,
надежды, пепел и иконы,
они узнают вкус истомы,
когда поймут, что нас нет дома...
Когда поймут, что нас нет дома
каких-нибудь полсотни лет...

А жизнь — летящая вода,
мы в ней — лишь мыслящие капли,
что испаряются, когда
предначертания иссякли,
когда поймешь, мудрец, дурак ли,
что наши роли и спектакли —
все наши роли и спектакли —
лишь тени в зеркале пруда...

Рождённые одной звездой,
мы не найдем пред ней защиты:
обретшие земной покой
и не рожденные — все квиты,
одним сомнениям открыты
народы, короли и свиты —
приговоренные судьбой,
мы будем все звездой убиты ...

УЧИТЕЛЬ

*Льву Александровичу Колесникову
Сиявушу Ахмедовичу Халилову*

Бредёшь устало по земле,
не зная цели и причины,
сокрыта истина во мгле,
вокруг не лики, а личины...
Душа пустынна и болит,
не убрана её обитель,
привычно немоту хранит
всемилоостивейший Спаситель...
Всё не хватает пустяка,
какой-то малости убогой,
чтоб от ручья пошла река,
чтоб тропка разлеглась дорогой,
чтоб мысль, рожденная в ночи,
с рассветом обретала крылья,
чтоб борозды твоих морщин
не стали символом бессилья,
когда, признав тщету побед,
ты руки опускал, не веря...
Но — свет! — сколь много значит свет
в конце пробитого туннеля!
Сколь важно — знать, что стоит бить,
крушить тяжелые породы,
надежды трепетную нить
и ненадежные погоды
презрев, как мелочь, как укор,
рожденный завистью и страхом...
Мы все когда-то станем прахом
и не закончим старый спор...
Но есть для устремлённых душ,
для тех, в ком жив ещё воитель,
чертог, где ждёт скитальцев муж —
не утешитель, но — Учитель.
Тот, кто разделит не скупясь
с тобой и пищу, и сомненья,
и поведёт, не торопясь,
тропой нелегкой постиженья,
где только труд, и труд, и труд,
где зыбки рамки достижений,
где ты поймешь всю тяжесть пут
на скользких склонах восхождений...

Тот, кто тебе откроет даль,
кто скажет: Там, за облаками,
есть то, ради чего не жаль
рыть землю голыми руками...
Кто бросит лики красоты
метафизических абстракций
и бесконечность пустоты
в костер твоих ассоциаций,
кто будет терпелив и строг,
своё ваяя продолженье,
кто будет для тебя как Бог...
Почти что Бог... Зане рожденье
твоё, как нового творца,
им обеспечено всецело...
Не позабудь его лица,
ни слово не предай, ни дело...
Так жизнь идёт — за мигом миг,
за шагом — шаг, за вехой — веха...
Мы тоже станем пылью книг,
но это — вовсе не помеха,
нам всем земной отмерен срок...
Лишь об одно молю, Спаситель:
— Дай Бог и мне взрастить росток,
который скажет мне: Учитель!

Памяти Татьяны Селиванчик

В гостиной Тани Селиванчик
судьбой продавленный диванчик,
дым сигарет — висит топор
весьма критических суждений —
над ошибкой слов, идей и мнений
витают вкусный разговор...
В гостиной Тани Селиванчик,
что суть и спальня, и чуланчик,
не привечают ложь и лесть:
в извечных поисках ответов
здесь препарируют поэтов —
их слово, жизнь, судьбу и честь...
В гостиной Тани Селиванчик,
казня дешевенький романчик,
хозяйка жалит, как оса —
на сердце столько накопело,
и коль перо, скрипя, не пело —
лови едучи словеса!..

В гостинной Тани Селиванчик
я нем порою, как «болванчик» —
здесь карту мечут без меня —
дух астрологии старинной
летает над бутылкой винной,
ворожит всем на злобу дня...
В гостинной Тани Селиванчик
один существенный изъянчик:
здесь время — горная река —
едва решишь ума набраться,
уже пора и собираться...
Ну что тут сделаешь? Пока...

* * *

Я тыщу лет не брался за перо
и позабыл противный скрип бумаги,
которую насилует оно,
наполненное похотью отваги...
Течет река, и дни сменяют дни,
и, чередую, — что года, что лица —
чуть теплятся священные огни,
а суета — не прекращает длиться...
И взор не опрокинуть в небеса,
и не испить душой желанной сини...
Манят нас сокровенные леса,
но в них мы ищем желуди, что свиньи...
Нам нужен свет, дабы найти еду,
и слово — чтоб послать куда подальше...
Так стыдно, что спасенья я не жду
среди мутных рек вселенской лжи и фальши...
Но если нет спасенья — что тогда?..
Кому кричать: Спасите наши души!?
Журча уносит талая вода
в пучины вод взвесь плодородной суши
и обнажает серый камень скал,
что годен лишь для жертвоприношенья...
Зачем, Господь, Ты смертью смерть поправ,
нам показав тернистый путь спасенья?..

Светлана ГОЛУБЕВА

ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК

Посвящается И.

Часть первая

1

«Мама!!!»

Никита кричал надсадно, немо, оттого мучительно до слёз, которые тоже не шли. Они истошно просились наружу, но поплакать не выходило, потому что сон есть сон.

Очнувшись от приснившейся боли, мальчик не сразу разобрался в сторонах действительности. Но после выдохнул краткий мык, снимая толику горести.

Этим сном он изредка перемучивался несколько уже лет, и каждый раз утром отмахивался от страдания, гнал его из себя, как приبلудную псину. А оно нет-нет да и возвращалось и снова заставляло кричать...

Никита сел, прижал глаза ладонями и помотал головой. Помогло: ночная мука начала тяжело опадать и гаснуть где-то в груди. Вместо неё уверенно всачивалась радость пробуждения: настоящая жизнь с каждым днём обростала новыми увлекательными подробностями и обещала ладно выстроиться.

Веру в удачу восторженно и беспечно подтверждало душистое майское тепло. Сирень, принесённая с вечера домработницей, веяла мечтами о будущности, неохватной и безмятежной, как сегодняшнее небо.

Никита соскочил с кровати и принялся собираться. Он был нежно тонок. Не скоро заматереет и окоренастится. В фигуре ещё полно детскости, — не угловатости.

Угловатость обычно выширает в манерах, а они у него — непринуждённо ловкие, добродородные, сказала бы бабушка. На их благодатной клумбе она вырастила редкое умение носить одежду и понимать толк в обуви. Кит — так Никиту звали в семье — едва не с пяти лет прочно, как своё имя, знал, что туфли и костюмы должны быть удобными, своевременными, чистыми без скидок на условия и причины. Отец никогда в деньгах на это не отказывал, хоть не

приветствовал педантизма, привитого бабушкой...

Кита воспитывала Ольга Леонидовна, мать отца. Когда ему исполнилось шестнадцать, он перебрался в просторную папину квартиру поближе к гимназии, где учился и куда до сих пор его возили из бабушкиного микрорайона. Такое решение ба приняла единогласно, то есть в один свой голос, без совещаний с сыном и внуком. Старая матрона сочла миссию попечителя выполненной и пожелала проживать в одиночестве.

Никите от неё достался набор намертво привитых условностей (светское воспитание), который оставалось украсить престижным образованием.

Его-то Кит сейчас и получал в десятом классе добротной гимназии, подобранной для него отцом. Безмерный трудолюб, отец всё же находил время раз в месяц интересоваться делами сына и нуждами учителей. Он никогда не забывал обещаний.

Киту, впрочем, и не приходилось многого просить. Всё, чем обустроивалось его учение, от компьютеров до купальных шапочек, было солидного качества. В нужный момент каждая вещь, словно по волшебству исчезала, чтобы подмениться лучшей...

– Итак, – сказал Никита в прихожей своему отражению. – Сегодня консультация. Потом пара экзаменов, и можно подумать о Копенгагене. Жаль, без Даши.

Воображение живо нарисовало улыбчивую девичью мордашку. Предвкушение встречи совсем обрадовало мальчика и поторопило. Он обдёрнул пиджак, сунул ноги в лакированные туфли и запахнул под мышку папку.

Юная природа доверчиво полила его солнцем, птичьей разноголосицей, горькими зелёными запахами, приняв за тонкий прутик с ещё не вывернувшимися листочками.

Холодноватый ветерок, похожий на предстартовое волнение, обдувал безусое лицо, слезил глаза...

Перед дверями гимназии букетиками скучковались старшие школьники. Среди них Никита издали углядел подругу. Даша тоже высмотрела его и теперь подпрыгивала, взмахивая рукой. Со стороны это выглядело забавно: будто кто-то дёргает её за запястье кверху невидимым шнурком.

Улыбчивое солнышко Даша вошло в десятом «В» осенним утром тотчас после звонка на урок. Розоватыми бликами ямочек и острыми лучиками прищура оно согрело попутно

всех: будущих одноклассников, учительницу биологии, даже вечно пасмурную, как промозглая морось, замдиректора, которая и привела девочку в класс.

Пока учителя, склонившись над журналом, вполголоса решали судьбу новенькой, она подошла к Никитиному столу и звонко спросила, кивнув на свободный стул:

– Можно?

Мальчик линейкой, словно снегоуборочным щитком, сдвинул на свой край учебник и тетрадь, освободив место.

На уроке Кит и Даша тихонько познакомились. Получилось на удивление легко и весело, поэтому им захотелось узнать друг о друге ещё что-нибудь, и ребята увлеклись. На переменах, сблизив головы, они ныряли в разговоры так глубоко, что не слышали звонков и спохватывались от окликов товарищей. Радостно и стремительно завязалась их дружба.

Ребятам и учителям девочка тоже пришлась по сердцу; уже через пару дней новенькой её никто не звал...

Перемахнув низкие ступени, Кит взял подругу за руку и тут же попал в негу светоточивых глаз. Оттого мысли спутались, слова растерялись.

Слушая внутреннюю сумятицу, он так и не решил, с чего начать, потому невпопад брякнул:

– Ой, Даш... Лето скоро.

– Привет, Кит, – ответила девочка с понимающей полуулыбкой.

Резкий, бесцеремонный звонок позвал десятиклассников в уже разогретую солнцем, душную школу. Но ни обязанность отсиживать в ней добавочное время, ни даже экзамены не могли переломить радостного настроения ребят на вольное лето.

Беспечно гомонящая река молодости ручьями растекалась по раскрытым настежь классным комнатам.

Десятый «В» шелестящей струйкой втёк в кабинет физики.

– Сходим сегодня к бабушке? – спросил Никита, выкладывая на парту тетрадь. – У неё для нас есть какое-то важнее сообщение.

– Натюрлих! – с шутливой готовностью отозвалась девочка.

Лучистая Даша, единственная из друзей Кита, ни капельки не боялась изнутри и снаружи прямой, как вязальная спица, Ольги Леонидовны, бабушки своего друга.

Знакомство с ней было обставлено чудными церемониями, точно дипломатический приём.

Полковница барски протянула Даше костистую руку так, что девочка замешкалась: то ли пожать, то ли макушку за благословением подставить. Пока гостя приноравливалась пожать, полковницына ладонь зависла минуты на две. Девочка прыснула, а Ольга Леонидовна изумлённо подняла правую бровь.

Даша не выдержала глупости положения и так заразительно расхохоталась, что надменность хозяйки протаяла до улыбки. Она обняла девочку за плечи и повлекла к столу.

Кит, настороженно наблюдавший за ними, с готовностью подхватил смешливую эстафету, даже охотнее, чем полагалось по этикету. Этикет рухнул.

Между Дашей и ба подозрительно быстро установились заговорщицкие отношения. Кита в свой союз они не приняли, и бог знает, что умышляли...

2

Хватило пяти минут притоптывания на ступенях «Ленинки», чтобы и сердце продрогло. Сырой напористый ветер пробирался за ворот и в рукава пальтишка, хватал за коленки.

Дина повернулась, чтобы уйти, и ткнулась лицом в грудь выросшего из-под земли человека.

— Привет. Меня зовут Иван. Что ты тут делаешь? — вот так, с места в карьер, поздоровался, представился, и завёл беседу пришелец.

— Дина, — недоверчиво буркнула девушка и шмыгнула носом. — Мне сказали, где-то здесь продают Брокгауза. Всё обошла, внутрь заглянула (она кивнула на здание «Ленинки»), в переходе закутки проверила, — ничегошеньки. Не знаю, куда ещё двинуть...

— Достану, — просто, даже буднично пообещал Иван. — А ты, значит, студентка? Педагог, небось?

Дине почудилась в его словах насмешка.

— Откуда такое пренебрежение к педагогам? — с вызовом спросила она.

— Да ты не сердись. И вот что. Времени у меня мало, говори, куда тебя сейчас подвезти. Я завтра обозначусь.

— Никуда не надо меня везти, — отрезала девушка, но, смутившись, тут же прибавила. — Проводи до метро. Тут близко...

— Посмотрите, какой парниша возле нашего общего жития на чудо-точке притормозил! — вскрикнула Людка, выглянув в окно.

— Следи за речью, будущий филолог, — посоветовала Галя, подходя к окну.

Люда не успела парировать, потому что пришлось ещё больше удивиться:

— Ты глянь, кто к нему выпорхнул! Это ж наша тихушка Динуля! С ума сойти...

Дина вернулась в комнату, прижимая к груди заветного Брокгауза.

— Признавайся, где мужичка с тачкой заловила? — без обиняков спросила Люда.

Улыбнувшись, Дина рассказала о вчерашнем знакомстве.

— Так просто? Странно... — недоверчиво протянула рассудительная Галя.

Дина пожалала плечами. Что необычного в знакомстве мужчины и женщины? Но удивляться пришлось и ей...

Едва не на первом свидании Иван протянул ей коробочку с кольцом и коротко пояснил: время не ждёт, пора жениться, а прелесть свиданий с цветами, ужинами при свечах не полиняют и после свадьбы. Избранница залилась колокольчиковым смехом: молниеносный роман хоть кого смутит.

Свадьба и в самом деле начала светить в близком грядущем, пугая Дину неотвратимостью...

Полная луна залила притворным жемчужным светом подоконник и подушку, но девушке и без того не спалось. Вечерний разговор с подружками оставил неприятный привкус. Галка с Людой Дининых сомнений решительно не понимали и усматривал в них глупое женское кокетство.

— Не пойму я твоей маяты, — говорила Люда. — В дебри Москвы подкатывается зажиточный кавалер, а ты манерничаешь. Дождёшься, пока уведут.

И Галя туда же:

— Дин, подумай: владелец строительной кампании, не пьёт, не курит и к тебе не абы как — женится. Где лучше-то найдёшь? Женихи за тобой в очередь, что ли, выстроились?..

Какие у Дины могли быть возражения? Иван — молчун; неизвестно, что помышляет? Не то... Быстро всё как-то, слишком, чтобы быть правдой.

Девушка приподнялась на локте, взглянула на луну. Мысли потекли спокойнее...

В девятом классе, когда в «Псковской правде» она прочла своё стихотворение, решила: станет учителем русской словесности. Непременно лучшим, и значит учиться поедет только в Москву. А тут неожиданное замужество...

Из недавней памяти выскочили Людины слова:

— Ах, нам деточек за гроши учить хочется! Ой, нам стишки писать приспичило! Кто ж тебе помешает с таким-то Иваном? Любая, слегка умная жена знает: не беда, если тебе чего-то не хватает; беда, если мужем помыкать не умеешь. Учись властвовать, милая, и тогда возьмёшь своё. А лучше брось-ка ты эту придурь с детьми и стишкам, ходи по бутикам, салонам и мотайся в Новый год на Аравийские курорты. Поняла?

Ну да, смеживая веки, баюкала себя Дина, брак планам не помеха, когда любовь...

«Любовь?» — она вздрогнула, точно услышала чужой голос, и проснулась, но лишь на мгновение.

Любовь, любовь... Слово таяло в сознании, уступая место сну. Луна ушла лгать в другое окно...

3

Свадьбу устроили изысканно простую; без излишеств, но по заоблачным мерам.

С утра невесту вежливо беспокоили примеркой нарядов, подбором букетов, украшений, ещё какими-то и кому-то важными мелочами. И каждый миг спрашивали Динино мнение.

Девушка никогда прежде не владела дорогими безделницами, не видела в них изъянов и достоинств, потому не могла выбрать. Она не умела думать о таких вещах, поэтому предсвадебная кутерьма утомила её раньше главного действия.

Только ожидая очереди замуж в комнате невест, Дина ненадолго осталась наедине с собой. Она подошла к окну. На улице заполошным воробьиным ором торжествовало лето.

«Что ты делаешь? Беги отсюда сейчас же!» — услышала девушка свои мысли и вздрогнула от их верности. Обхватив плечи, словно её мгновенно прошиб озноб, мотнув головой, она прогнала незваную правду и заставила себя думать иное.

Люди... Они сейчас счастливы за неё, ждут. Тратились. Мама из Пскова приехала... Хороший получился бы сюрприз...

Её позвали. Невеста пересилила волнение и вышла в зал к Ивану...

На руках мужа она влетела в его обиталище. Неожиданно ей стало не по себе: в квартире было всё.

«Разве так живут?» — удивлялась Дина, обходя владения.

Избыток всяческих удобств ошарашил молодую хозяйку, лишил дела. Ей не приходило в голову что-то менять в доме по своим желанием (они просто не рождались), метаться по магазинам в поисках новых люстр и кофейных столиков. Даже ухаживать за этим роскошеством полагалось не жене, а домработнице.

Надеясь хоть чем-то снабдить отлаженную жизнь мужа, Дина надумала учиться каким-нибудь сказочным блюдам. Накупила книжонок и с азартом взялась постигать вкусную науку.

Иван сразу после свадьбы увяз в работе, возвращался поздно, подолгу сидел в кабинете, не ужинал. Кулинарные подвиги оказывались напрасными...

Не приготившись хозяйкой, Дина подумывала вернуться к своим прежним планам. Вечером, когда Иван как обычно пристыл у компьютера, загипнотизированный столбцами чисел, жена проникла к нему в кабинет и робко присела на подлокотник кресла.

— Ваня, — тихо позвала она. — Давай, я закончу институт.

— Не понял. Повтори.

Дина вдохнула поглубже и заговорила:

— До свадьбы, ты помнишь, я училась в педагогическом. Теперь хочу восстановиться и закончить. Что скажешь?

— Аргументы, пожалуйста.

— Что?

Иван, наконец, посмотрел на неё.

— Ты хочешь закончить институт. Спрашиваешь моего совета. Чтобы дать его, я должен получить ответы на три вопроса: затраты, возможная прибыль и, следовательно, целесообразность.

Он снова погрузился в голубое свечение монитора, а жена тихонько вышла из кабинета с новой крошечной мыслью: в её семье что-то неладно...

Несколько раз она с мужем ходила на вечера, похожие на дежавю.

Они под руку входили в какой-нибудь зал, где небольшими горстками, с бокалами в руках уже толпились и сдержанно беседовали гости, одетые все как один

неброско-шикарно, с малыми отличиями.

К Ивану с Диной поочерёдно подходили люди для короткого ритуальца приветствия и знакомства. Мужчины с минуту озирали новую в обществе женщину и забывали о её существовании. Их главным интересом был Иван.

Дамы же тепло улыбались светской дебютантке и отсыпали вымеренную долю любезностей, исхитряясь при этом скользить взглядом по дининой фигурке с лица, на бок и чуть на спину.

Изумляясь их уловкам, Дина как-то спросила мужа:

— Что они на мне ищут?

— Ценник. Привыкай, — не то серьёзно, не то шутя ответил Иван.

Но она не привыкла, не вжилась в атмосферу вечеров, чувствовала себя неодолимо отдельно от этих людей, как манекен на витрине...

Рождение ребёнка не скрепило семью. Иван не породнился.

Перед тем, как вновь броситься в путину деловых тягот, он позвонил своей матери, Ольге Леонидовне, попросил найти опытную няню.

Чугунным утюгом присланная помощница вклинилась в Динино материнство. Служа ревностно, няня предупреждала и крошечные попытки Дины приблизиться к малышу. Болезненно морщась, горе-мама вспоминала слова бесцеремонной Людмилки: «Учись повелевать...» Этим Дина точно похвастаться не могла. Отослать бдительную прислугу стоило неимоверного напряжения воли, которого не хватало, и няня полновластно воцарилась в детской.

Иван сложности в этом не видел.

— Она выполняет работу, которую я хорошо оплачиваю. Моя мать дала ей нужные указания. Не волнуйся, — говорил он жене...

Отчуждённость нарастала, а Дина ничего не могла поделать. Прислуга её не слушалась, Иван не слышал, Никитка не видел.

Прежде, в часы душевного неуютта ей хотелось писать стихи, но это тяготение теперь ослабло вместе с надобностью что-нибудь одолевать, достигать, как-то трудиться.

Прятаться от осознания того, что не нашла себе места, потому не сумела обвыкнуться в новой жизни, женщина начала в запойном чтении и в редких прогулках с сыном.

То было чудодейственное лекарство от реальности. Если

удавалось улизнуть от няни, Дина с малышом забиралась в какой-нибудь тихий, неприбранный дворик, где осенью можно расшвыривать разноцветную листву, подбрасывать кверху и кружиться под ней, раскинув руки, а зимой падать в сугробы. Кит-Никитка смеялся пичужкой, а Дина напевала.

В такие часы казалось, что железобетонный, равнодушно хрустящий судьбами жернов города-великана гудит где-то в стороне и, возможно, ей с сынишкой повезёт: он их не раздавит...

«Вот ведь штука», — думала иногда Дина: «У меня есть то, чего даже пожелать не успела, а я живу так, будто сердце потеряла, будто меня и на свете-то нет»...

Однажды белый листок телеграммы принёс Дине чёрную весть. Мама...

Взять с собой маленького Кита нельзя и думать. Скорбь и похоронные хлопоты заберут её душевные силы без остатка.

— Поедешь одна, — сказал муж.

И Дина уехала...

4

Ольга Леонидовна ещё в девушках придумала себе жизнь и смогла воздвигнуть её по замыслу, потому гордилась собой и конечно, самозабвенно любила своё детище — семью.

В ней она видела свой долг, крест, который несла с восторгом, будто самую завидную долю на земле...

Выйдя замуж за офицера, она с такой истой готовностью принимала и одолевала гарнизонную жизнь, что к концу службы не менее мужа была достойна полковничьих погон. Где-то армейская доля ей пригодилась даже больше, чем мужу...

Ольга Леонидовна души не чаяла в единственном сыне. Голубила его успехи, ждала побед и устанавливала для них планку. Впрочем, и промахи Ивана виделись как посланное свыше испытание, единственно для того, чтобы ещё раз осветить его особость.

Вера в недюжинность сына выкристаллизовалась в ней за годы, когда растерянные люди поневоле учились жить так, как не умели прежде. Тогда-то Иван на пустом месте сколотил строительную компанию и теперь, не зная отдыха, возделывал это поприще. Но на то, что для матери являлось

главным оправданием жизни, он не находил ни сил, ни времени. Семья сына — вот о чём сокрушалась мать...

Однажды служение Ольги Леонидовны закончилось, и мнилось, навсегда. Умер муж, благоденствие которого составляло смысл её жизни.

Весь год, не находя себе применения, женщина из угла в угол мерила комнату чеканными солдатскими шагами, пытаясь обвыкнуться в непривычном звании «вдова».

Выход нашёлся сам собой: уехала невестка. Иван привёз матери пятилетнего Никиту, не пускаясь в объяснения, а через несколько дней объявил: Дина не вернётся.

Маленький внук глядел на бабушку блестящими, почти круглыми глазёнками в ореоле лучей-ресниц, словно диковинными голубыми солнцами, безмолвно требовал семейной устойчивости, тепла и защиты. И Ольга Леонидовна перенесла на него все душевные силы и честолюбивые чаяния.

Фанатично веря в сиятельное будущее ребёнка, она с упорством селекционера прививала ему должные манеры и оттачивала запросы до филигранно педантичной простоты. Благо, Иван денег на это не жалел...

Позже, оглядывая уже повзрослевшего внука придиричивым взглядом, бабушка поняла, что прибавить больше нечего.

Никита вырос непохожим на золотую молодёжь, своих сверстников, которые за деньги родителей получали то, чего могли бы добиться сами. Могли бы? Кто знает... А Кит мог.

К своим сложностям и надобам мальчик допускал родных и учителей, и то лишь настолько, насколько это неизбежно. В репетиторах, прислуге, разномастных помощниках и советчиках он не нуждался.

Теперь ему надо туда, где человек вращает жизнь, а не жизнь человека, то есть, к отцу.

Все эти годы Ольга Леонидовна нуждалась в Никите не меньше, чем он в ней. Внук спасал её от старости: пока он рос, немощь не смела к ней подступиться...

И вот женщина во второй раз теряла смысл жизни, но теперь осознанно. Не оттого, что мало любила. Иногда привязанность к внуку заставляла бабушку верить в право на все его чувства; она не могла допустить, чтобы он наделял ими ещё кого-то.

Глубоко в себе бабушка прятала воспоминание о своей жестокости. С возрастом этот случай поднимался из памяти всё чаще, настойчивее, словно требовал пересмотра на суде

совести. И Ольга Леонидовна понимала: теперь, в одиночестве, ей придётся с ним разбираться.

Чтобы не страдать от ненужности, она завела новую семейную традицию: сын и внук обязывались один день в неделю проводить с ней.

Гостевые дни Ольга Леонидовна сдабривала съестными изысками из собственных рук, давно умевших что угодно превращать в произведения искусства ради удовольствия близких.

Правда, вскоре новшество изменилось. Бабушкины дни почти всецело переложились на Кита. Иногда он приводил друзей или девочку. Милая, тонкая Даша в день знакомства обаяла полковницу, и та отважилась посвятить её в свою нелёгкую тайну...

5

В тяжко-докучной, но по обычаю неизбежной маяте людных поминок Дине было легче, чем сейчас одной.

После похорон матери в доме поселилось эхо, сделав одиночество окончательным.

Дина слушая переключку часов и шагов с их упругими, точно мячи, гулками отголосками; водила пальцем по рисунку обоев, по обколотившимся углам древнего полированного серванта.

Мало что изменилось в доме за годы Дининой столичной жизни. Корзинка для рукоделия и круглый будильник гранитно стояли на извечных своих постах, а вкрадчивый хрип половиц Дина помнила с минуты, когда в ней, малышке, первым лучом вспыхнула память.

Воспоминания детства настолько захватили, что, взглянув в помутневшее трюмо, она удивилась своей взрослости и вздохнула...

Закатное, ещё не зарево — солнце выстелило на полу светлый квадрат и загорелось в оправе стариковских очков.

Дина босиком вступила в тёплое солнечное пятно и закрыла глаза. Ей отчаянно захотелось, чтобы вошла мама. Несчастливая дочь сжала ладони и зашептала: «Войди, ну, войди же!»

Чуда не случилось. Дина села на диван, зажала лодочку рук коленями и закачалась...

Дня через два, чтобы как-нибудь отвлечься, она заняла себя разбором вещей.

В шкафу нашлась пухлая картонная папка с обтрёпанными клапанами. Из неё листопадом посыпались старые открытки, фотокарточки и вырезки из «Псковской правды» со стихами.

Дина опустилась на пол, развернула газетный лоскут и принялась читать свои юношеские творения. Оказалось, она каждую строфу помнила наизусть.

За словами, как нить за иглой, из памяти вытаскивались давние мысли, события, а за ними — мечты, планы... Венчиком народившегося цветка раскрывались забытые желания. Дина узнавала прежнюю себя, точно давно потерянного из виду старого друга, и понимала, что больше не захочет жить лоснящейся бездельем жизнью. Но есть Кит, Иван. Главное, Иван.

Дина отложила вырезки и подтянула колени к подбородку и стала покусывать нижнюю губу. У неё вовсе не было уверенности, что муж её поймёт и поддержит. Но ведь у него тоже когда-то всё начиналось с желания, планов, и вон во что выросло. А ей, Дине, и сотовой крохи того не мыслится, — какая ему обуза? Она всё устроит сама, лишь бы понял, лишь бы разглядел человека...

Толком не решив, чего ждёт от разговора, она всё же набрала номер. Впервые после замужества Дина заговорила о себе: ей не нравится служить домашним удобством; мало оттенять солидность мужа-дельца, украшать его, как булавка на галстук...

В трубке долго висело молчание.

— Не приезжай. О Ките не беспокойся, у него будет всё. Попробуешь забрать его через суд — уничтожу. Ты меня знаешь...

— Да не о том же я, Ваня! — как укушенная вскрикнула Дина, но связь уже оборвалась...

Тишина окружила ватной предгрозовой духотой: Дина перестала ощущать ветер, запахи, тепло, словно мир отъединился прозрачной витриной. Можно видеть происходящее, но нельзя окунуться в него, почувствовать.

Дина вышла из дому, заключённая в капсулу беды и, не замечая уличной суеты, побрела без цели.

За домами и лугом она спустилась к реке, пошла по кромке берега. Прозрачные ладошки тёплой воды осторожно гладили ей ступни и замывали ямки следов. Нежаркий светлый день окликал Дину звонкими криками купающихся детей. Ультрамариновая, с радужным отливом, стрекоза несколько раз пикировала ей на плечо. Но никакая утеха не

могла сейчас пробиться сквозь бронированное стекло несчастья...

Спустя время женщина не вдруг поняла, что слышит колокол. Она остановилась, повернула голову в сторону, откуда, казалось, доходят волны набата. Ноги внезапно налились свинцом; нести себя стало невмоготу. Дина рухнула в песок, оперлась на кулаки и бессмысленно уставилась в пространство между ними. Горло обжёт невидимый калёный песок. «Господи! Зачем так жить? Забери!» — просила она и ожидала скорой милости... Но ничего не произошло.

Оставалось жить...

В библиотеке, куда Дину приняли на работу, не особенно привередничали по отсутствию диплома. Плата, конечно, копейки, но Дине было всё равно.

Лето она прожила в ступоре. Горе высосало её до равнодушия, но не ушло — затаилось, время от времени напоминая о себе тревожной бессонницей...

Последние дни осени небо изливало на землю холодным дождём.

В тот вечер Дина забыла на работе зонтик, влачилась к дому вымокшая и совершенно разбитая. Струйки, повторяя завитки волос, стекали с головы за ворот. Тушь с ресниц оплыла, оставив на веках чёрные полумесяцы.

Женщина услышала за спиной хлюпанье шагов и краешком глаза усмотрела мужчину, спрятавшего лицо в воротник.

«Полоснул бы ножом, что ли...» — неожиданно возникла у неё на редкость чёткая мысль, не испугав, однако, и не удивив.

Между тем, мужчина нагонял. Ожидая избавления, Дина вздохнула. Сейчас между лопатками её прожжёт ножевая рана. Скорее бы! Ещё мгновение — и кончено! Она уже почувствовала тёплую щёкочущую струю (кровь?) на спине. Теряя сознание, Дина взглянула на падающие в глаза пунктиры струй и прошептала: «Спасибо»...

6

После пятидесяти Ольга Леонидовна перестала широко отмечать праздники и не любила, чтобы её тревожили поздравлениями.

Дни рождения она обычно проводила в кресле, пересматривая семейный архив.

Однажды ей на глаза попало письмо Дины, оставшееся без ответа по сей день. Прожив жизнь собственного изготовления, Ольга Леонидовна тогда не верила, что обстоятельства бывают сильнее людей, потому презрела невесткины излияния.

Сейчас, пробежав глазами листок письмеца, она невесело усмехнулась. М-да, обстоятельства... С каждым днём ей всё труднее не считаться с ними.

Мысли повернули к Никите. Приспел день, когда у него останется только отец, с которым нет родственного тепла. Иван — чёрствый человек; тяжёлая работа забрала все силы, даже те, что предназначены для семьи, любви, а благополучие уничтожило надежду на то, что он будет любим. И в этом Ольга Леонидовна чувствовала свою вину. Взяв на себя заботы о внуке, она освободила Ивана даже от попытки стать отцом...

К этой вине она добавила ещё. Всякий раз, вспоминая лужицы округлившихся Дининых глаз, готовых излиться солёными ручейками, полковнице становилось неловко. Она уже не помнила, что выговаривала матери своего внука прямо на лестничной площадке, но Дина больше не появилась. Ольга Леонидовна спрашивала себя, что заставило её прогнать невестку, только ли благочестивые принципы? Ещё страх. Страх, что придётся делить привязанность внука ещё с кем-то. А вышло, что безмерная её любовь лишила Кита разом всех: матери, отца, а скоро и бабушки... Любовь, питавшая сотворение семьи, через годы оказалось стенобитным орудием, погубившим эту храмину — вот в чём признавалась себе Ольга Леонидовна, глядя на желтый Динин листок...

Может быть, как раз теперь наступило время жизненно важного решения...

Старая матрона положила перед собой лист бумаги и вывела узкими острыми буквами: «Здравствуй, Дина»...

Бывшая невестка ответила. Она жила по прежнему адресу, работала библиотекарем. Бог знает, как умудрялась издаваться.

Ольга Леонидовна читала присланные Диной сборнички. В ответ рассказывала об успехах Кита, отправляла фотокарточки.

Завязалась переписка, странная, как ни посмотреть. Две разные судьбы, два не принимающих друг друга подхода к жизни оказались связанными почтовой ниточкой в единый тандем...

Кит вежливо терпел разговоры о матери, через силу читал её письма и листал книжечки. Потом, уединившись, он засовывал их на стеллажах за словари, с глаз долой. Ольга Леонидовна это знала, но не отчаивалась: последнее дело её жизни продвигалось...

7

Дина тяжело болела. Когда её вымётывало из горячки, она с удивлением слышала возню на кухне, а иногда различала склонённое к ней рыжебровое лицо с близко посаженными глазами. Знакомое, но она не могла вспомнить, чьё...

Здоровья ей не хотелось, а оно приближалось. Скоро Дина уже не впадала в забытие, — лежала, неподвижно уставившись в потолок, и послушно, словно очарованная, принимала лекарства и чай из рук рыжебрового.

— Кто вы? — однажды спросила она.

— Меня зовут Пётр. Работаю в библиотеке: охраняю. Я встречал вас на заседаниях литературного кружка. Вы — Дина, тогда ещё запомнил, потом уж... в документах посмотрел...

— А здесь... почему?

— Подобрал вас на улице. Шёл следом, вижу: на тротуар медленно оседаете: плохо, что ли, случилось. Подбежал, поднял... Вы «спасибо» сказали.

— Не помню... Ничего не помню...

— Потом я «скорую» вызывал... — пытался подступиться к Дининой памяти Пётр.

— «Скорая»... — эхом откликнулась больная. — Сколько дней прошло?

— М-м... Четыре.

— И вы всё время были здесь? Дома-то вас, наверное, потеряли!

— Да некому терять, — серьёзно ответил Пётр.

Они надолго замолчали, возможно, даже забыли на время друг о друге.

— Но вы всё же уходите. Теперь я одна смогу, — тихо попросила Дина.

Через две недели она вышла на работу.

Зима, царевна-несмеяна, то и дело меняла серебристые норковые меха на сырое дымчатое рваньё. Люди ходили, утопая то в снегу, то в воде. Лишь к концу декабря слегка приморозило. Дина ходила по затканным гирляндами улицам, равнодушно обводила взглядом витрины, не умея

или не смея увлечься предпраздничной суетой...

С Петром она мельком встречалась после работы, когда сдавала ключи. Иногда они перебрасывались парой слов.

Дине почему-то было неловко за то, что невольно вовлекла его в свою беду...

В новогодний вечер Пётр пришёл к ней домой с угощением. Давно не ожидая от жизни ничего хорошего, женщина нахохлившись воробьём сторожко присматривалась к ситуации.

А Пётр, как ни в чём не бывало, принялся разбирать пакеты и накрывать стол. Дина взялась помогать и исподволь наблюдала, постепенно смягчая сердце.

Наконец, гость пригласил хозяйку на праздничный ужин. Она усмехнулась, и напряжённая неловкость исчезла. Интерес затеплился, беседа ожила.

Смущаясь, Дина рассказала Петру, как осенью она, больная, на улице приняла его за убийцу.

Тот не рассмеялся, но весело глянул и сказал совсем породному:

– Глупенькая, кто ж за мокрую доходягу в тюрьму рвётся? Или думаешь, у тебя на лбу написано, что полны карманы золотишка?

Он погладил её по голове на удивление жёсткой ладонью и поцеловал...

Наутро Дина увидела сосульку, свисавшую с крыши прямо перед окном.

Преломившись, солнечный луч искринкой засветился внутри стылого натёка, словно солнце вгрызлось в него золотым зубком. Капли на острие ледышки скапливались и грузнели, задорно шлёпались в снеговые отверстия, брызгая вокруг, как сорванцы.

Душа женщины просветлела.

Она любила зиму, но сейчас поняла, что отчаянно ждёт весны, лёгких платьев, времени, когда можно телом касаться ветра...

Медленно, медленно возвращались радости.

В Дине проснулось человеческое, природное. Это было ново и удивительно...

наполненной симфониями кулинарных запахов. Ребята уже успели насладиться съестными чудесами, и бабушка решила, что пришло время для важного разговора. Она выложила новость сразу, без обиняков:

— Мать зовёт тебя в гости на своё сорокалетие. Вот письмо.

Её слова прозвучали так, словно речь шла о прогнозе погоды. На колени внука кувыркнулся конверт.

Кит не тронул его, продолжая покачиваться в кресле.

Даша нарочито рассматривала альбом с репродукциями импрессионистов, показывая, что назревающий разговор её не интересует.

— Прочитай. День её рождения десятого июля. Подумай, когда и как возьмёшь билет, сколько прогостишь, — настаивала бабушка, обращаясь к внуку.

— Ба! Что ты меня всё время ею пичкаешь? Она — чужой человек. Почему ты за меня всё решила? Я чемодан, что ли? — сказал Кит натужно спокойно.

Но Ольгу Леонидовну невозможно было сбить с колеи:

— Думаю, что ты должен поехать. Речь идёт о твоей матери.

— «Твоя мать», «твоя мать»! — закипал Никита. — Господи, Ба! Ты хоть слышишь себя?

— А ты меня? — невозмутимо откликнулась старая леди.

— Слушай, а чего бы тебе самой туда не нагрнуть? Вы же с ней близкие подруги! По переписке, — ехидничал внук.

— Она зовёт тебя. Я слишком стара для псковского климата.

— А у меня на него аллергия! — выкрикнул Никита. — Всё. Разговор окончен. Даша, пошли!

Он смахнул с колен письмо и выскочил в прихожую. Даша поставила альбом на полку и двинулась было за другом, но вдруг присела, подобрала конверт и долгим взглядом посмотрела на Ольгу Леонидовну...

Ба не стала останавливать ребят. Пусть идут. На улице май. Самое время туда...

Всё образуется — это она знала теперь наверняка, потому, что есть маленькая умная Даша. Она всё сделает правильно...

9

Пётр приподнялся на локте и пальцем стал легонько сматывать в колечко прядку дининых волос.

Дина лежала закрытыми глазами.

Он подул на её веки. Ресницы дрогнули, женщина усмехнулась.

— Что? — спросил Пётр.

— Да так... Через месяц мне сорок. А я этого совсем не чувствую.

— Во-он что, — сдвинув брови над смеющимися глазами, протянул Пётр. — Отмечать будем?

— Н-не-знаю, — замялась она.

— Можно совместить. Пригласить литкружок к тебе. И поговорим, и выпьем. Да?

Дина пожала плечами и задумалась. Почувствовав её настроение, Пётр тоже стал серьёзен.

— Давно хотел спросить. Почему ты одна?

— Родители умерли, — неохотно отозвалась подруга.

— Я не про то... Ты говорила, что у тебя есть сын. Почему вы с ним не вместе?

Дина села на постели, обхватила ноги и положила подбородок на колени.

Как ответить? Ответить ли... Это ж всю жизнь рассказать надо...

— Давай, мы его на твоё сорокалетие пригласим! — неожиданно предложил Пётр. — Как, говоришь, его зовут?

— Никита, — тихо произнесла Дина больное имя.

— Так и напишем: Никита, приезжай на день рождения мамы. Попытка — не пытка. Вдруг приедет? Поговорите хоть... Надо же когда-то... Попробуем? — и Пётр уверенно стиснул плечи подруги...

Жёлтые полосы света пробивались сквозь шторы, раскладывали светлые пятна по мебели и стенам. Искристые пылинки спирально роились в лучах и походили на золотую мошкару.

10

Весь путь Кит молчал и не смотрел на Дашу. Та за ним едва попевала, но не окликала.

В своей комнате мальчик вперился в окно и закаменел.

Даша приблизилась, положила руку ему на плечо, но он дёрнулся. Девочка поняла так, что надо подождать и притихла в углу дивана...

Через время она опять подошла и притронулась к спине друга. На этот раз Кит не пошевелился. Девочке показалось, что он успокоился, и можно теперь говорить.

— Кит... Я думаю, бабушка права...

Никита медленно повернулся и удивлённо воззрился на девочку.

— Послушай меня, ладно? — она попыталась объяснить, но тот не дал продолжить.

— Даша, — тихо, со значением произнёс он. — Мать бросила меня пятилетним ребёнком.

— Что значит, бросила? Ты в самом деле хотел поселиться с ней в псковской глухомани, жить на гроши и терпеть какого-нибудь отчима-механизатора?

— Она могла остаться с нами... Н-ну, вернуться после похорон псковской бабушки.

— Тут всё непросто, — мягко сказала девочка. — Отец что-нибудь говорил об этом?

— Отец молчит. Некогда ему... А ты что-то слишком много понимаешь в таких вопросах, — небрежно ответил Никита.

— У неё наверняка причины были. Только ты о них не знаешь.

— Почему же за столько лет она ни разу не захотела меня видеть?

— Да потому, например, что денег на дорогу не было! Может, она боялась причинить тебе боль... Или что не примешь...

— Да, не приму! И не поеду, ясно?! — взорвался Никита и вдруг сделал открытие. — А-а! Так вот почему вы с ба переглядывались! Хотите примирить меня с матерью — это цель вашей коалиции! Глупая девчонка с выжившей из ума старухой...

Кит захлебнулся негодованием, замолчал. Даша не ответила на выходку, только смотрела во все глаза.

Странная пауза длилась довольно долго; Кит успел оценить себя со стороны. Он уже жалел о взрыве и не знал, как теперь поступить. И Даша решала, как быть ей: та ли это минута, чтобы рассказать Киту главное? Найдётся ли другое, более удобное время, хватит ли потом смелости?

Не вполне решив, правильно ли она поступает, оттого волнуясь, девочка сбивчиво заговорила:

— Ты же ничего не знаешь. Твоя бабушка лет пять мучается тем, что ты... Что вы с мамой...

Она смешалась, испугавшись, что сболтнула не то, не так, не вовремя и закрыла лицо руками...

— Я пойду, ладно? — устало сказала Даша...

Дверь в прихожей аккуратно щёлкнула.

Кит метнулся к полкам и стал размашисто смахивать на пол колонны томов пока не нашёл материну книжицу. Он упал на кровать, открыл посередине и принялся читать...

Вторая часть

1

Состав медленно втянулся между платформами. До отправления оставалось ещё с полчаса; заходить в вагон не имело смысла.

Никита беспомощно топтался на перроне вместе с Дашей. Он сумрачно молчал и тем здорово смахивал на отца. Даша, напротив, без умолку щебетала, но разговор был нестойкий и ненастоящий: «Приедешь — позвони», «Про подарок не забудь», «Если что купить там надо — купи».

Кит даже односложно не силился отвечать, просто кивал и смотрел куда-то в пространство. Время издевательски влачилось, Даша не уходила, Киту больше всего хотелось сейчас остаться одному.

— Я пошёл садиться, — принуждённо выдавил он из себя.

— Куда ты? Ещё двадцать минут, — удивилась девушка.

— Да... Всё равно уж... — невпопад пробормотал Кит, отводя глаза.

Подруга внимательно на него посмотрела и, словно поняв его состояние, кивнула. Едва прикасаемо, точно воздушной волной от крыла бабочки, она поцеловала его в щёку и порхнула к вокзалу.

Кит занял своё место, привалился спиной к стене, скрестив на груди руки. Мимо открытой двери купе проходили, протискивались с вещами люди, превращаясь в невольных соседей и случайных собеседников, одним словом, становясь пассажирами...

Поезд дёрнулся ехать. В дверном проёме появились трое. Чуть ли не одновременно они протиснулись внутрь, сели напротив и любопытно уставились на Никиту.

— Привет, я — Стас, — сказал один и кивнул на приятелей. — Эти двое чудиков — Димон и Шурик. В Псков по каковскому дельцу?

— Никита, — нехотя отозвался Кит. — К матери еду... В гости.

— А мы — на пленэр, — опять за всех ответил Стас. — Ты в Москве учишься?

— Учусь... И живу. С отцом... Бабушка ещё есть.

— Предки, стало быть, разбежались, — подытожил всё тот же парняга.

— Она бросила нас, когда мне было пять лет, — почему-

то уточнил Никита.

Все притихли.

— Да что... — отмахнувшись от молчания, вдруг бросил Шурик. — Вот моя мать — при мне, а лучше бы отдельно жила. Такого мужа привела, — с души воротит.

— А у меня мамы не-ету-у, — дурашливо проныл Димон — Дима. — «Федотка-сиротка» я-а...

— Ну, загундосили, — беззлобно оборвал ребят Стас и предложил Никите. — Слушай, в конце вагона наши едут. Пойдём?

— Нет, спасибо. Я, наверное, спать лягу.

— Как хочешь. Надумаешь — милости просим.

Парни пошуршали в вещах, достали бутылочно постукивающие пакеты и высыпались в коридор. Никита остался один.

Те трое засели в дальнем купе, и очень скоро оттуда стали докатываться взрывные волны дружного смеха. Киту предстояло уединение, по крайней мере, до глубокой ночи.

«А у меня мамы не-ету-у. А у меня мамы не-ету-у, — мысленно несколько раз пропел Никита. — Фу ты, привязалась глумливая фразёнка!» И вдруг усмехнулся: «У одного мама есть, у другого не-ету-у, а у меня то ли есть, то ли нет».

Он сел по ходу движения и поглядел в окно. Сначала за окнами проскакивало неохватное и ненасытное хозяйство столицы. В этом не было интересного, и Кит принялся размышлять.

До поездки Кит точно знал, что мать ему не нужна. И вот, появляются трое совершенно случайных людей, и ему уже хочется, чтобы они осудили его родительницу, посочувствовали брошенному мальчику. Почему?

Никита представил, как мама ходит по улицам далёкого города, улыбается, может, любит кого-то, и болезненно поморщился, но тут же одёрнул себя. «Не надо было парням жаловаться. Никого не поразил. У тех самих сложно. Моя-то хоть жива». Потом понеслись другие мысли.

Узнает ли он мать? Она помнилась молодой, хрупкой, в коричневом платье, с короткими волосами. Но ей сорок. Располнела? Состарилась?

Как она его встретит? Кинется целоваться, расплачется у него на груди? Никиту передёрнуло. Только бы без этого цирка. Живя столько лет порознь, разыгрывать сердечную встречу глупо... Но если кинется, как ему себя вести?..

Поезд между тем выскочил в лесные дачные массивы. Стало поинтересней. Дальше пошли леса. Смерклось.

Никита смотрел, как через его отражение в стекле промелькивают деревья, тянутся провода.

И вдруг увидел небо; громадное, низкое — рукой достать! Он выключил свет, и уже ни о чём завтрашнем не думал, просто смотрел.

Неизвестно как замысловатые облака держались ещё налету. Но днищами-то наверняка скребли по крышам вагонов, и, если бы не степ колёс, их скрежет слышали бы пассажиры.

Кит прижимался к стеклу и заглядывал наверх. Облака были не синие — фиолетовые, закатное солнце навело им оранжевую кайму. Этим ли художественным приёмом, природе удалось оживить их причудливую рельефность или тут что-то ещё?..

Потом мальчик вжался щекой и посмотрел вперёд, на локомотив. Небесные тяжеловесы немного не дотягивали до горизонта, оставляя светлое пространство. Там, куда мчался состав, горело полураздавленное облаками солнце. Оттого в картине чувствовалась тревога: неумолимо нависающие фиолетовые груды вот-вот расплющат и поезд, если он не успеет проскочить в багровую щель между землёй и ими, поэтому так быстро стучат колёса...

Никита вспомнил материно стихотворение, которое сначала не понял, зато теперь видел воочию:

Опрометью мчат леса из Пскова,
Им навстречу — поезд из Москвы,
И рябят в окошке бестолково
Шпалы, камни и пучки травы.

Провода электропередачи
Сходу налетают на столбы,
Отбегают к станциям и дачам,
Утомясь от гоночной борьбы...

Не сбиваясь с рельсового такта,
Во всю прыть несётся мой вагон,
Словно проскочить в просвет заката
Под просевшим небом хочет он.

2

Ждать встречи оставалось сутки. Дина думала, что, может быть, Пётр прав, и разговор у неё с сыном всё-таки состоится. Но о чём бы они не решились поведать друг другу, главным будет один — единственный вопрос: почему так вышло?

Годами, в свои, Никитины дни рождения, в одинокие вечера Дина на разные лады задавала его себе. Ответов находилось множество, но ни один, по совести говоря, её не устраивал, и женщина шаг за шагом пересматривала свою жизнь в обратном порядке.

Сегодня она несчётный раз допрашивала себя.

Крякнула дверь. Пётр вошёл в кухню и обнаружил Дину, неподвижно сидящую у окна.

— Случилось что-нибудь?

Пётр поцеловал Дину в щёку, придвинул ногой табурет и сел рядом.

— Думаю... — тихо сказала Дина.

— Не волнуйся ты так. Завтра встретитесь, поговорите, всё наладится.

— Кит не ответил ни на одно моё письмо; он, наверное, меня ненавидит...

— За что же, разреши спросить? За то, что не попыталась высудить или выкрасть его у отца? — с незлой иронией спросил Пётр. — Твои возможности позволяли надеяться на успех?

— Ну что ж, иронизируй. Я даже встретиться с сыном не сумела. Ездил в Москву, а что толку: Ольга меня на порог не пустила... Кстати, я видела Кита тогда в школе, в окне...

— Бог с ней, с поездкой, — перебил её друг. — Давай посмотрим на твои сомнения и с другой стороны. Ты могла бы дать сыну всё то, что у него сейчас есть? И дело даже не в деньгах. Твой сын может получить образование в любой стране Европы, — вдумайся, моя бедная девочка! Не тебе — ему было бы лучше, если бы ты его этого лишила?

— Пойми, я лишила его себя... Всё время думаю, могло ли в моей жизни устроиться как-нибудь так, чтобы я осталась с сыном и...

— Понятно, понятно: и рыбку съест и дамки сесть.

— Да нет, не жаль мне утраченных благ, — спохватилась Дина. — Могла ли я найти себе применение в Москве и не разлучаться с Китом?

— Думаешь, стоило ли затевать собственные планы, чтобы в итоге остаться без сына? — уточнил друг. — Иными словами, существовало ли срединное решение?

Дина быстро повернулась и внимательно посмотрела на него.

— Да, Петя! Да!

— Тогда ответь честно: у тебя имелись способы как-то переломить положение в свою пользу?

— Допустим, я рискнула бы попросить у мужа денег на заведение какого-нибудь моего предприятия.

— Не знал, что у тебя к этому есть способности... Таких дельцов, как твой Иван, единицы. Уверена, что получилось бы? И подумай заодно: а если бы выпрошенная сумма прогорела? Хотя, не льсти себе: он слишком умён, и наверняка сразу отказал бы.

— Возможно, мне удалось бы там издаваться, — робко обвиняла себя Дина.

— Не смейся, милая. Иван не стал бы вкладываться в это. Ну, может, купил бы тебе тираж сто — двести экземпляров, подружкам раздарить, — твои проблемы решились бы в корне?

Дина усмехнулась.

— Я могла учиться дальше, закончить институт...

Пётр обнял её и мурлыкнул:

— Ты его и закончила...

— Ну да, благодаря тебе, — в тон ему ответила она.

— Прибавь сюда нашу литературную студию. Помнишь, как мы радовались, когда вышел твой сборник? А ещё есть я...

Вместо ответа Дина обеими руками взяла его лицо и поцеловала.

— Ну, всё, хватит чепуху разбирать, — шутливо-деловито сказал Пётр. — Что у тебя на ужин?..

Этот разговор ей самой казался наивным: сорок лет всё же сказали своё слово.

Было время, когда Дина вела такие беседы с собой и не могла оправдаться. Тысячи раз она просила Всевышнего: «Ответь мне! Надоумь!», а слышала только своё дыхание и считала, что Бог от неё отвернулся.

Шли годы, ответы находились сами, а Господь как всегда оказался мудрее людей...

И всё же, за сутки до встречи она снова перебирала совестные укоры. «Что я сделала не так с самого начала?» — спрашивала она, следовала нити событий в исток своей судьбы и находила то, чего не могла объяснить даже сейчас.

Почему она тогда бросила учиться? Почему не отказалась от няни для Кита? Дине казалось, что институт и прислуга связаны со следующими вешками её жизни. Наберись она смелости отстоять учение и материнство, у неё нашлись бы силы и на что-то большее. Это, не оправданное временем бессилие, она себе простить не могла.

Поезд сытой гусеницей медленно подползал к вокзалу; в вагоне учащённо задвигались двери купе.

Настроение у Кита падало как стрелка барометра на дождь. Его раздражало огулом всё: компания весёлых, несмотря на бессонную ночь, художников, со смехом вываливавших пожитки; трое возвратившихся попутчиков; захолустные виду в окне. А главное: то, что ему до казалось далёким, сейчас должно произойти. Не ожидая ничего хорошего, он заранее уже ругал себя и весь мир. Зачем было соглашаться с ба и Дашей? Чего потащился в неизвестность?... Отец... Молчун ещё тот... Зачем денег на поездку дал?..

К тому же он обнаружил, что забыл перед сном почистить обувь. Теперь корил себя за разгильдяйство. Он хотел предстать перед матерью в блеске, подчеркнуть их с ней неравенство, чтобы она не посмела претендовать на родственность. И вот, обувь оказалась с пыльной!

Кит схватил со стола салфетку и начал яростно натирать ею туфли, вкладывая в это занятие всё душевное беспокойство.

Толчок поезда остановил его. Утро встретило мальчика свежестью недавнего дождя.

Проводник помог ему снять на платформу чемодан. Кит помедлил в двери, огляделся. С последней ступени он махом шагнул в маленькую лужицу. Он посмотрел на туфли: капельки с туфли юрко созмеивались с глянцевой чёрной кожи на асфальт. Кит чуть не заплакал, сотый раз проклиная приезд, и жалел, что нельзя сию минуту прыгнуть в вагон и укатить обратно ...

В ряби слёз он не заметил, как к нему подошла женщина.

— Здравствуй, сын, — спокойно сказала она.

Кит оглянулся; память колыхнула замытые воспоминания, и он догадался, что это мать.

— Здравствуй..те, — неуверенно, но как-то успокоено поздоровался мальчик: у женщины не дрожал подбородок, не наворачивались слёзы. Она не покушалась обволочь Никиту поцелуями и объятьями.

— Пойдём? — робко предложила мать после недолгого совместного разглядывания.

— Пошли, — решительно отозвался Кит.

До остановки молчали. Мать шла чуть впереди, и Кит мог её рассмотреть. Она была такой же худой как в молодости,

но сейчас это шло ей, пожалуй, меньше, чем тогда. Волосы покрашены, но не уложены в причёску (у ба всегда уложены)... Коричневое платье походило на прежнее, которое он помнит (неужели то же?). Вся она была какая-то простенькая, бледненькая и безлика (мышь серая ... Моль белая).

В автобусе, чтобы разбавить неловкость, мать принялась показывать примечательные места, прокатывающиеся за окном. Кит озирал их рассеяннo и молча кивал...

— Располагайся, — сказала Дина, растворяя дверь в чистую комнатку. — И приходи на кухню обедать.

Когда она вышла, мальчик сел на кровать, опустил руки и обвёл глазами временное пристанище: здесь ему предстоит отбывать гостевание. Хорошо бы не выходить отсюда до отъезда....

В кухне Дина собирала на стол. Никита вошёл, она оглядела его и осияла робкой улыбкой:

— Как ты вырос... Совсем взрослый.

— Ещё бы... — с иронией ответил Кит.

Но мать не подала виду, что заметила, приподнялась на носках, потянулась к сыну рукой, но Никита отшатнулся. Она опустила глаза и, поджав губы, указала ему на стул, приглашая обедать.

— Сколько пробудешь? — спросила Дина.

— Две недели, — рассеяннo отвечал Кит, покрутив в руке вилку и пошарив взглядом по столу. Ножа он не увидел, а попросить не смог: пришлось бы обратиться к хозяйке, а он не знал, как.

— Сейчас поедем и, если хочешь, покажу тебе наши места...

— Наши... — эхом тут же Никита.

Дина помолчала и добавила:

— Речку, лес... Ребята всё лето там пропадают. А хочешь, съездим в город, я покажу, он красивый. Только не завтра. Мне на работу надо. Потом уж отпуск начнётся.

— Я не пойду, спасибо, — ответил Никита. — Устал с дороги. Отдохну.

— Ладно. В другой раз ходим... — Дина сказала ему уже в спину.

В комнате Кит прилёг на пружинистую кровать, и она благодарно и бережно его качнул, мягко взывнув пружинами. Мальчик заложил руки за голову. Вот приехал... Какая всё же тоска! Что ему тут делать? Он благополучно

прожил бы и без этого, да и мать, кажется, тоже.

Закурлыкал сотовый. Долгожданная Даша. Никита только сейчас понял, что долгожданная. Будь они вместе, всё прошло бы легче.

– Никита! Как ты там? Уже у мамы? Нашлись?

Дашина привычка задавать одновременно несколько вопросов прежде слегка раздражала, но теперь казалась ему забавно-трогательной.

– Даша... Здесь тебя не хватает.

– Тебе не хватает? Что, так плохо?

– Н-нет... Просто я не знаю, как себя вести, что сказать... Чувствую – не моя тарелка.

Даша помолчала.

– Вы поговорили? Как мама?

– В порядке... она, – Кит осёкся, не смог назвать Дину мамой.

– Милый Кит, – опять заговорила подруга. – Всё обойдётся. Вот увидишь. Я понимаю, что говорю все и всегда, но поверь мне, пройдёт немножко времени, и всё сложится не так уж плохо.

Мальчик сник. Ну да, так всех утешают. Глупые, незначимые слова, ничего не решающие и не помогающие.

– Ладно, – ответил он тусклым голосом. – Пока. Созвонимся.

Даша послушно отключилась.

Кит закрыл глаза и погрузился: не так бы им попрощаться. В самом деле, что девочка могла сделать? Чего он от неё ждал? Он не знал.

Как бы ни было, дорога и переживания порядком утомили, и он уснул...

4

Ещё не окончательно проснувшись, Никита точно издалека уловил голоса. Материн и мужской...

Пётр свалил на стол продуктовую поклажу.

– Как всё прошло?

– Что – всё? – сухо переспросила Дина.

– Первая встреча. Она самая трудная... наверное. Я, в общем, не могу судить, но так кажется... – смешался Пётр.

– Ничего, нормально.

– А где он сейчас?

– Прилёт с дороги.

Для обычной кухонной возни Дина выглядела, пожалуй,

слишком сосредоточенной, и он понял, что спрашивать больше не стоит, может, и нечего пока.

В дверях показался Никита. Вид юноши после сна отозвался в Петре чуть заметным смешком.

– Привет, молодец. Я – Пётр.

Никита скупо пожал протянутую руку, буркнул «Никита» и хотел вернуться обратно в комнату, но Пётр задержал.

– Хочешь прогуляться?

Кит молча кивнул; перемогать вечер на один с матерью не хотелось.

– К семи вернёмся, – сказал Пётр Дине и легонько подтолкнул мальчика к двери...

Они прошли по окраинной улочке с деревянными домиками. На развилке, между заборами свернули к огородам. За ними широкой зелёно-золотой лентой в солнечной неге томился луг.

В траве по брюхо утонули несколько терракотовых коров.

Никите удивила и позабавила их неподвижность: животные словно погрузились в самосозерцание, медитировали и, медленно закрывая сливовые очи, уплывали в свою коровью нирвану.

Тропка вывела мужчину и мальчика наискосок через луг, оказалось, к реке.

– Это наш пляж, – Пётр обвёл рукой песчаную полосу с валунами по краям.

В буровой воде бакенами качались несколько голов фыркающих и смеющихся купальщиков. Пётр поднял ладонь, приветствуя одну из них, и повлёк Никиту дальше по берегу, поросшему ажурным ивняком.

– Твоя мать... Талантливый человек, – медленно, подбирая слова, начал он. – Не от мира сего.

– Да уж, – откликнулся Кит.

– Погоди иронизировать. Она мучилась разлукой с тобой, как бы это сейчас ни звучало.

Усмехнувшись, Кит дёрнул подбородком и поймал себя на мысли, что это отцово движение.

– Могла бы вернуться, её никто не гнал. Почему она этого не сделала?

– Сложно объяснить в двух словах. И нужно время, чтобы разобраться.

– Хорошо, я спрошу по-другому: почему она не забрала меня?

– Это ты сам объяснишь, когда посмотришь на себя в зеркало и повнимательнее приглядишься к её жизни.

— Ну да, конечно! — насмешливо спохватился Никита.
— Вы ведь на социальный статус намекаете.

— Я бы сказал по-другому. Возможности... Перспективы, если тебе так понятнее.

Кит усмотрел в словах Петра высокомерие и вспыхнул:

— Да, кажется, на глупее вас. В гимназиях обучены.

— Не заводись, — миролюбиво пытался остановить его Пётр.

Но мальчик разозлился:

— Про перспективы я вам так отвечу. И у неё были не хуже моих, если бы она сглупу не променяла их на вашу тьмутаракань. С нами не захотела, а без нас не получилось. Вот, чем она мучилась. Безвольная бабёнка...

Пётр неожиданно развернулся, крепко стиснул плечи Кита и спокойно, без нажима произнёс:

— Полегче, сынок. Речь идёт о твоей матери.

Рыжебровый внимательно посмотрел в глаза, — и в этом мальчику померещилась тень противостояния.

Разговор исчерпался, Никита закусил губу. Сквозь личину воспитания проступила неприязнь к материнскому другу. А между тем, приходилось сознаться: в Петре не было и песчинки того, что Кит презирал в людях. В чём было его превосходство — мальчик не понимал и не желал доискиваться...

Они вернулись. У Дининого дома рыжий сказал:

— В выходные у твоей мамы соберутся наши, так сказать, собратья по перу. Познакомишься с ними и больше узнаешь о матери. Будь мудрым. Спокойной ночи.

Кит ответил наклоном головы...

5

Несколько следующих дней Никита был предоставлен сам себе.

Он уже осмотрел дом и взялся обходить окрестности.

Невдали за пригородным посёлком поднимался сосновый лесок. Мальчик заглянул туда и разочаровался однообразием. Повсюду одинаковой высоты сосны, внизу — мягкие изумрудные сугробы мха и кустарнички. Бог знает, как называются эти кустарнички, ягоды с них Никита на всякий случай не пробовал. В загущённой ольхой низине он нацеплял на брюки мелких паутинок. Их трудно было убрать пальцами, и лес вовсе мальчику прискучил. Впрочем, природные восторги ему всегда казались фальшивыми. Он ушёл к реке.

Мимо всеобщего купального места, которое они проходили накануне с Петром, неожиданно, его окликнули. Это было так невероятно, что Никита сразу не понял, что его зовут, и шёл дальше, не оборачиваясь.

Его догнал Стас, тот, из компании художников.

— Привет, попутчик! Не ожидал тебя здесь встретить. Как дела?

— Да я тоже... Не чаял. А дела мои нормальные, правда, не знаю, что ты имеешь в виду.

— Ну... Ты же про маму говорил. Как у вас, наладилось?

— Д-да, — не очень уверенно проговорил Никита и уже жалел о том дорожном разговоре. — В общем, да.

— Хорошо, если так, хотя по виду не скажешь. Но ты всё равно не переживай. Главное, вы вместе, значит, договоритесь. Кто раньше созреет, тот и сделает первый шаг... Ох, да я, кажется, лезу не в свои дела. Прости, друг, пойду. Там меня Димон с Шуриком заждались. Всё. Бывай.

Стас махнул рукой, не, не оглядываясь, потрусил к купальне.

Кит двинулся дальше по берегу. Пейзаж здесь тоже не увлекал: луг да приречные ракиты, и мальчик принялся осмысливать своё положение.

Итак, он в чужом городе, среди чуждых ему людей. Непонятно, чем они живут, чего хотят. Этот рыжий Пётр... Кто он матери? Во что посвящён ею? Почему допущен в их дела? Кит тут же перебил себя: какие дела-то? У него с матерью не затевается дел ни сейчас, ни после.

С ней вообще ничего хорошего: он не может прикоснуться к ней, посмотреть в глаза, поговорить. Сможет ли когда-нибудь? Чему надо случиться, чтоб это изменить?

Ему и подруге звонить не хотелось! Ночь в поезде поделила жизнь мальчика на два неравных, глубоко разных части. Разговаривать с Дашей и окунаться в прежнюю жизнь, а затем выбираться в эту, незнакомо точащую, слишком тоскливо.

Ещё недавно Кит был довольным собой, уверенным юношей с удобным будущим, радужными планами на лето. И вот уже несколько дней он — обычный, издёргавшийся подросток.

Рядом с Петром он чувствовал себя неумным, рядом с матерью — жестоким, каким себя прежде и не знал.

В той жизни он любил общение, а в этой бегаёт от него по лугам и лесам до вечера...

Раздумывая так, он забрёл довольно далеко и не сразу

заметил, что окрестный вид изменился.

Никита оказался на взгорке. Обмелевшая река, пересыпанная по руслу и берегам валунами, протекала внизу. Вкруг, не посягая на свободу друг друга, росли с десяток сосен.

Они совсем не походили на те, которые росли в лесу. Там деревья прямые, что карандаши, без единой веточки почти до самой верхушки. И как в коробке с карандашами стоят тесно, осыпая мох жёлтыми иголками.

Эти же — неохватные крепкогрудые старики с вольно растопыренными тяжёлыми ветвями, пушистой кроной. И трава была в колено; света ей здесь хватало. Внизу, возле воды кустилось неизвестно что. Кажется, черёмуха с той же ракитой. Никита опустил в траву между исполинами и подставил лицо нежаркому солнцу. Вверху кора краснела. От солнца, сама по себе или всё вместе, — Никита не разобрал, но от этого рождалось ощущение, будто она накалена и лучится.

Мальчик закрыл глаза, прислушался. В голосе ветра ему почудился чей-то далёкий зов... Мысли улетели, остался шёпот деревьев, травы, реки...

Он очнулся, когда тень от сосны дотянулась до него, умалив день. Вечерело. Надо было возвращаться...

6

С утра Кит нашёл неловкий способ вручить Дине подарок. Она благодарно посмотрела на него, но подарка не развернула — унесла в комнату. Недосуг.

Шли последние приготовления к застолью. Мальчику тоже передалось оживление. Ощущение причастности к праздничной суете для него было новым, неожиданным. Пару раз даже вызывался помочь. Мама обрадовалась, но всё же отказалась. Разве что в магазин послала. С Петром...

К вечеру стали собираться гости. Никита взялся встречать их у порога и приглашать в гостиную. Заодно знакомился: пожимал руки и назывался в ответ. Большинство пришельцев возбуждало его любопытство. Бородатые личности в нехитрых свитерах и рубашках разувались и проходили в комнату в носках! Они напоминали альпинистов и скульпторов из старых отечественных фильмов не только одеждой. Тех и других роднило состояние, о котором говорил Петр: не от мира сего... Это, вероятно, была та когорта людей, кто в вещах ценности не

видел, разве только в том, что составляет смысл их жизни. Одни — в верёвках и ледорубах, другие — в книгах и рассветах. Никите почему-то казалось, что мамины друзья особенно ценят рассветы, потому что к восходу их творческие муки чем-нибудь да заканчиваются. Тем они и счастливы. А у него, Никиты, много дорогого, и он не знал, мог ли испытывать счастье на рассвете без хотя бы части этих своих ценностей. Если сорвётся Копенгаген — страшно подумать, как его это огорчит. А вон тот, в чёрном свитере, вероятно, и бровью не поведёт, если, конечно, сам себе не лжёт...

Дина перестала, наконец, суетиться, все разместились и на минутку притихли, чтобы дать созреть торжественности момента, Кита вдруг ошеломило открытие!

Впервые в жизни он почувствовал себя неловко. Во влитом пиджаке и дорогих туфлях Кит оглядывал застолье точно с другой планеты. В замешательстве он опустил голову; ему чудилось, что все уставились на него.

Но поднялся Пётр, произнёс вступительные слова, и внимание утекло к Дине.

Мало-помалу, занялись едой, разговорами. Кит незаметно снял пиджак и вздохнул.

Беседы оживились, стали непринуждённые. Затевались шумные споры вокруг литературы. Кита они тоже увлекли, но, не считая себя знающим глубины поэзии, он в спорах не участвовал и, если приходилось, отвечал коротко. Какой вершины достигли разговоры, мальчик не уловил, но в единый момент вся компания вдруг обратилась к одному человеку — соседу Кита по столу.

Он поднялся, попросил передать ему гитару, и дружная тишина уняла гомон...

С первым же струнным дрогом Кита накрыло мягкой тёплой волной, словно шерстяным пледом. Мальчик не считал себя впечатлительным, но мог поклясться, что чувствовал именно тепло. Струилась печальная песня, как выяснилось, на слова Дины. Для пушщего чувства, Кит прикрыл глаза и погрузился в музыку.

Волшебным образом скупенькая комната обволоклась бархатным уютom, люди стали добрыми, и жизнь оказалась не такой уж злокозненной...

У Кита защипало глаза. Он осторожно встал и прошёл между гостями на улицу.

В могучей предвечерней тишине мальчик услышал шёпот:

— Не надо... Не целуй сейчас... — говорил женский, мамин голос.

— Почему? — откликнулся мужской.

— Никита... Кит может выйти. Увидит...

— И что? Он взрослый парень, всё понимает...

— Н-нет... Отпусти...

— Боже мой, Дина... Какие условности...

— Условности?!

Полный злого отчаяния вскрик услышали за собой Пётр и Дина. Они разом обернулись: Кит смотрел на них округлившимися глазами.

— Что же вы остановились? Продолжайте. Я заметил, что здесь не слишком считаются с условностями! Да и кто я такой, чтобы меня принимать во внимание?

— Кит... — начала было мать.

Он не дал говорить:

— Кит?! Почему Кит? Так меня зовут только родные. А ты — кто?! Кто ты мне?!

— Никита, послушай, — заговорил Пётр, но мальчик уже ничего не слышал и кричал матери, захлёбываясь и глотая куски слов:

— Ст.. лет... Ст...лько лет я тебя ждал!.. Вот, оказывается, чем ты тут занималась. Бабушку хоронить уехала? Траур-то не помешал мужичка завести?! Неземная любовь помогла забыть маленького сына! Вы, Пётр, думаете, она вас любит?! Какая наивность! Она даже собственного ребёнка не любит! Никого не любит, даже себя...

Сорвавшись на последнем слове, Кит опрометью бросился прочь.

Дина медленно опустилась на крыльцо, прислонилась к перильцам и мелко задрожала. Чтобы унять её, она обхватила себя руками, сломилась пополам и медленно замотала.

— Ах, Петя... Наверное, он прав...

7

Кит прибежал в сосновую рощу, недавно им отысканную, с маху сел в траву, положил локти на колени и уронил на них голову.

Из-под закрытых век на скулы протекли слёзы. Плечи вздрагивали, и трудно дышалось.

Решительно всё за сегодняшний вечер казалось ему стыдным: праздник, материн роман, собственная несдержанность. Сюда, как на клубок, наматалось ещё много

обид и обличений. В чём только он не винил Дину, время, родных, чужих. Всё переплелось и не подлежало разбору...

Понемногу в памяти, будто среди ненастья, прояснился один давний случай. Кит тогда учился в пятом классе.

Несколько дней меньшие гимназисты улейком погуживали о забавной или тревожной новости (кому как нравилось). Мальчики — смеясь, девочки — доверительно на ушко рассказывали, что о чудаковатой женщине. Кое-кто встречал её окрест гимназии. Говорили ещё, она подходит к мальчикам, заглядывает им в лица. Не хватает за руки, не идёт по пятам, а так: смотрит и растерянно отходит.

Никита не верил. Она ни разу не попала ему на глаза даже в отдалении.

Однажды только, глядя из окна третьего этажа, он увидел, как охранник провожал за ворота незнакомку. Та обернулась, посмотрела на окна и поймала взгляд Кита. Он не мог отчётливо разглядеть, но мигом догадался, кто это, и истошно закричал: «Мама-а!»

С натуги заболело солнечное сплетение.

Никита перевёл дух. И вдруг, испугавшись тишины за спиной, он резко обернулся. Привычная картина — младшие школяры бегали и дрались — наполнилась звуками. Кит облегчённо вздохнул. Его не слышали: он кричал беззвучно.

Он потом во сне так кричал, но что именно видел, вспомнил лишь сейчас. Ему снилось заполошное, полусумасшедшее лицо. Материно.

Кит заплакал сильнее. От жалости к себе, пятикласснику; к Дине, тогдашней, в окне; от сегодняшней ревности к Петру...

Сосны деликатно притихли, отведя взгляды за реку. Там začínался закат, долгий, как все летние вечерние зори в этих краях.

Какой нежный свет, чей таинственный шёпот позвал Никиту взглянуть в ту сторону? Мальчик поднял глаза: оттуда, вместе с лучами усталого светила источалась великая, умиряющая тишина. Кит, всхлипнул, вытер кулаком слёзы и задумался.

Мать приезжала в Москву. Почему же она с ним не встретилась? Побоялась отца? Или бабушки? Даша говорила, что ба за что-то винится... Ах, да! Теперь понятно за что. Мысли шли и шли...

За рекой, на далёких зазубринах леса распласталось солнце... Даже и не солнце, а бесформенная лужа света окрашивала облака в розовые и золотые тона, озаряла

поверху шевелюры сосен: ветви горели как металл в мартене.

Мальчик безразлично оглядел ноги: на брючины и носки нацепились семена череды, к туфлям прилипли паутинки. Зато в вечернюю тишь текли последние кванты света.

Кит уставился даль, и закат трижды отразился в нём: маревом дрожал в блестящих глазах и в груди, в потаённом месте кровавым густым светом растворял соляные столбы обид, тяготивших Никиту.

Наступил момент, когда освободившаяся от тягот душа будто вышагнула за оболочки тела, костюма, расправилась и вдохнула невиданную, непознанную до сих пор волю. Она точно скинула лакированные туфли и пошла по холодеющей траве к ласково ворчливым речным струям.

Говорят, души иногда летают, парят над сущим, но никитина шла, его грудью, кожей, глазами вбирая последние мгновения уходящего дня. Дремучие волхвы-сосны простёртыми к закату ветвями, точно меховыми рукавами покачивали, прощаясь с солнцем...

Пугливой птицей короткая белёсая ночь, бесшумно раскинула крылья, окружно спланировав над миром. Она остудила сосновое зарево, подула на Никитину смуту, точно в кипящий ключом котёл, и умалило всё, чем мальчик до сих пор страдал и дорожил, во что верил, чего ждал от судьбы. И рассвету уже не под силу расставить всё по прежним местам...

Невесомыми лентами пара ночь увила пойму. Тёмные купола кустарника зависли над землёй, отсечённые от неё туманом.

Кит разулся и, подробно смакуя землю ступнями, боясь пропустить малое ощущение, медленно, будто едва выучившись ходить, двинулся к реке.

В сизо-голубой росной траве вытянулась тёмная строчка шагов, обмётанная арочками сбитых стеблей.

Ноги тотчас заломило от холода.

Кит радовался ломоте, терпел её восторженно, потому что понял: ночные кошмары отступились от него. Он, оказывается, здорово устал от снов, обид, а главное, от необходимости их скрывать, постоянно уминая в душе как расстаявшее тесто...

Завиднелось...

К вящему удивлению Кита вода в реке оказалась тёплой и быстро согрела озябшие ноги. Он бродил по мелководью, пока рассвет не окреп, не стронул с ветвей лёгкий ветерок.

Покой. Небывалый покой. Такой, как будто всё уже решено...

Никита осторожно клацнул дверью и, стараясь не шуметь, вошёл в кухню. У стола, спиной к входу Дина что-то нарезала и не обернулась, только движения стали нарочитее.

Сын подошёл, обхватил её, притиснул к себе. Мать напряглась, затаилась, но он слышал её дрожь. Она оставила нож и тихонько, словно боясь спугнуть, погладила его по руке.

– Я не могла, понимаешь?... Не... – скороговоркой сдавленно пролепетала Дина.

– Ш-ш-ш... – шёпотом запротестовал Никита и ткнулся в её макушку сухими губами.

Она послушно умолкла, и дрожко сдерживаясь от рыданий, гладила руки сына.

Кит тёрся щекой о её волосы, вдыхал их запах. «Господи, какая же она маленькая», – неожиданно открыл он, и жгучая волна подкатила к горлу. Никита зажмурился, крепче обнял Дину, вжался в её кудри и выхрипнул незнакомым голосом, точно позвал:

– Ма-ма-а...

Дмытро ПАВЛЫЧКО

НА ЭТОМ СВЕТЕ МОЖЕТ СТАТЬСЯ ВСЁ...

МАМА

Сельский клуб. В четыре шага — сценка.
 Папирос навязчивый дымок.
 В зале декламировал Шевченко
 Я — из Багадунки пастушок.
 Был тот зал громаднее планеты,
 Голос мой меня в просторы нёс.
 А из-за кулис знакомым цветом
 Мне светили веточки берёз.
 Видел я сквозь дымную прозрачность,
 Слобно сквозь ночные небеса,
 Море горькое
 голов батрачьих,
 Строгие печальные глаза.
 Я горел, а может, мне казалось,
 На вершине света, как заря.
 И от сердца пылко отрывалось
 Пламенное слово Кобзаря.
 Супились жандармы у порога,
 Хмурый ксендз корежился в ряду.
«А до того я не знаю бога!»
 Перед ним и дальше не паду.
 Звал крушить я гордыми словами
 Казематы пана, холуя.
 Все рукоплескали. Только мама,
 Только мама плакала моя.

СОН

Шальная ночь. Дорога в лес.
 Бегу, а вот куда, не знаю.
 И я того перегоняю,
 Кто впереди бежал, как бес.
 Я победил не тень свою,
 Ведь чую потною спиною,
 Как этот сыч бежит за мною

И кличет: «Стой, не то — убью!»
Я слышу сзади злобный ор,
И в шею гонит дых охрипший.
А чёрт бежит, как будто сыплет
На вырубку все камни с гор.
Не озираясь, я спешу,
Но вместе с тем готовлюсь к бою,
Распахнутый — перед борьбою, —
В руках оружие держу.
Мой бег задерживаю. Дрожь.
И нет уж силы мчаться дальше,
Но слышу смех, как стон печали, —
Так конь, израненный весь, ржёт.
Торопит время. Бьют дожди.
Замешкался. Но с новой страстью
Стреляю в темноту — по страху,
А чёрт уж на земле лежит.
Убил его! И на чело
Студёное — сложил я руки,
И плакал от бессильной муки,
Покамест солнце не взошло.
Когда ж увидел, что стою
Сам над собою после боя,
Проснулся и, ожжён хулою,
Я проклинал судьбу свою.

* * *

Фальшивый стих... Он в золочёном горле
Творца звучит, как будто правды звук.
Трусиха-нота — смелостью звенит,
Бессильная — играет громом кары.

Когда ж гортань бездарности сгорает,
Его стихи утрачивают блеск.
Они боятся выскочить из книг
Без голоса его, как без одежды.

И — куклами — покамест жив актёр,
Они болтают, плачут и смеются,
Отходит он — приходит немота.

Моё нелегкое, взрывное слово,
Заговоришь, когда меня не станет,
Иль вместе с голосом моим умрешь?

НА ЭТОМ СВЕТЕ

На этом свете всё имеет место:
Здесь зрячесть пули — слепота любви,
Чтобы достичь врага вслепую, честно,
Чтоб не найти для счастья синевы.

На этом свете может стать всё:
Вода и кровь людская вместе стынут,
Тиран, что сердце сам себе грызёт,
Поэт, что сводит для людей святыни.

На этом свете всё имеет место:
Простая люлька — золоченый гроб,
Чтоб ты сумел себя забыть безвестным,
Корысть от смерти — вычеркни, холоп!

На этом свете может стать всё:
Паны с рабами и борьба меж ними,
Она свободы ввек не принесет,
Погреет лишь надеждами святыми.

На этом свете всё имеет место,
Не гневайся на то, что не твоё.
Кувшин вина и чашку едкой смеси
Твоя рука твоей душе даёт.

На этом свете может стать всё,
Все это духу твоему — до смерти,
Ведь он — шоссе, что яростно несёт
По двусторонней страшной круговерти.

* * *

А книжек нет. Всё — в Интернете.
Всё — в паутиновой стране.
Висят там петухи инертно,
И солнце виснет, как во сне.

Пришлось поймать его, как муху,
Премудрым хищным паукам.
И никнет тень людского духу,
Что в письменах живёт века.

* * *

На свете бога нет над Богом,
Что говорит: «Коснись душой
Орла, змеи и носорога,
Коль хочешь знать, где ты живёшь.

Да может, это и поможет
В самом себе убить дотла
Змеиное и носорожье,
И выучиться на орла».

* * *

Я был на ярмарке — оружие продают:
Ракеты, самолеты, пушки, батареи...
Я голоса людей, что завтра их убьют,
Слыхал из голубой, из наивысшей сферы.

То не псалом, не реквием, не горный плач,
Что кровь напоминает на Божиим мольберте,
Не крик предчувствия, не скрежет неудач,
А песня радости приговорённых к смерти.

* * *

Время жмёт, и мысли так полощет,
Их острит, и моет, как ножи.
Знаю: в человеке всех дороже —
Нет, не жизнь, а зарево души.

А моя душа в огне сторела —
Где же мне теперь её найти?
В гарищах и пепелищах тела
Боль живет — и нету чистоты.

НА СПАСА (фрагмент)

Я — мальчонка-пастушок.
На девчат смотрел я косо.
Та — несла мне груш мешок,
А была золотокошой.

Та — давала спелых слив,
Словно сливками умыта,
От неё тот запах плыл,
Как от скошенного жита.
Та же, третья, как пчела,
Залетела прямо в душу
И забрала, понесла
Сердце — золотую грушу.

И шалаши, и замки, и палаты
Пересмотрел на всей большой земле,
Но краше я нигде не видел хаты,
Чем та, отцовская, в моём селе.

Она стоит и видит без антенны
На куполах небесных витражи.
Не для меня творили эти стены —
Для вечно зрячей, для моей души.

Перевела с украинского Римма КАТАЕВА

Иван КОРЖ

ТЫ СВЕЖЕСТЬ ПРИНЕСЛА С МОРОЗА

* * *

Уж кое-где топились печи —
Тянуло хлебом и дымком.
Уж кое-кто, сутуля плечи,
Шел с поднятым воротником.

Зимы подбадривала свежесть.
Парок струился изо рта...
Да по дворам, впуская вечер,
Скрипуче пели ворота...

* * *

Вновь за окном качаются
Калины гроздья спелые,
А там, глядишь, появятся
Незвано мухи белые.

С хрустящими тропинками,
С калитками скрипучими,
С морозом да синицами,
Да елями пахучими.

...В печурке пламя мечется,
Березы запах слышится,
В окно заиндевелое
Рассвет тихонько брызжется.

А я читаю томики
Есенина и Пушкина,
И вижу в рощах домики,
И Русь родную слушаю...

ТЫ СВЕЖЕСТЬ ПРИНЕСЛА С МОРОЗА...

Ты свежесть принесла с мороза
И на щеках, и на губах,
В тепле зарделась, словно роза,
Держа соломинку в зубах...

Ты вся пропахла сеновалом.
Пыльцою, снами сохлых трав.
Я на тебя пошел обвалом, —
В охапку всю тебя вобрав...

ТРОЙКА

Что прекрасней русской тройки
В день морозный января!
Льется сосен запах стойкий,
Иглы в бусинках горят.

Звон подков и визг полозьев.
Легких розвальней полет.
Лишь вчера горела осень,
А сейчас — зеркальный лед.

Тройка белая, как вьюга.
Голубой шатер небес.
На заимке ждет подруга, —
Расступись, дремучий лес!

* * *

Бегут, пофыркивая, кони.
Полозья — щуками в снегу.
Так пахнет клевер и цикорий,
Что кажется — лежу в стогу...

В тулупе дедовском овчинном,
Под стать — из фетра сапоги,
На розвальнях я еду чинно,
В потемках не видать ни зги...

Но вот огни! Белеют хаты.
Дохнул жилья знакомый пар.
В избе есть печь, при ней — ухваты,
Стол, каравай и самовар...

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Пришли крещенские морозы,
Трещат заборы по ночам,
Глядят прохожие сквозь слезы,
Спешат к натопленным печам.

По избам пахнет пирогами,
Едою вкусной и простой.
В окошко тычется рогами
С мороза месяц молодой.

У образов горит лампада,
К гостям — мордашку моет кот.
Примете той хозяйка рада,
И все ж, зевая, крестит рот...

А утром звоны, песнопенья,
К реке студеной крестный ход,
Улыбки, встречи, поздравленья,-
Гуляет на Руси народ.

В СНЕЖНУЮ ПОРОШУ

Памяти С. А. Есенина

Закурю я трубку,
Вейся дым в колечки,
Мчите меня кони,
К милой до крылечка,
Чтоб она услышав —
Топот ваш ретивый,
Радостно сказала:
«Это едет милый!»
Мчите, кони, быстро
Розвальни-салазки,
Вам овес за это,
Мне — любимой ласки.

К воротам подъеду,
В сани ее вброшу
И помчусь со свистом
В снежную порошу,
Я целуюсь с милой.
Кони мчатся сами,
Видно им по нраву
Разгуляться с нами.

Валерий БЕРЛИН

ХАРЬКОВСКАЯ ЮНОСТЬ КЛАВДИИ ШУЛЬЖЕНКО

От этих мест куда мне деться?...
Николай Доризо

Сейчас уже трудно представить, что в натуральных условиях городской окраины может явиться миру незаурядный артистический талант. Карьеры делаются в наше время либо в школах и студиях, под внимательным родительским оком и при их материальной поддержке, либо в условиях телешоу, объединяющих навыки модельного агентства, дискотеки, но только не неспешное вхождение в мир большого искусства немногих призванных.

В случае Клавдии Шульженко счастливое стечение обстоятельств: время, открывшее двери новому, молодому поколению, чуткое, отзывчивое дарование будущей певицы, прекрасные учителя, разглядевшие талант и вовремя определившие характер дарования.

Клавдии Шульженко надо было еще вовремя родиться, чтобы, как говорят в театре, точно попасть в «предполагаемые обстоятельства». Вот ее отцу, бухгалтеру управления ЮЖД, Ивану Ивановичу Шульженко, обладавшему хорошим голосом, певческая карьера, видимо, не была на роду написана. Зато благодаря ему и Клава, и ее брат Николай, и все домашние любили музыку и в разных ее проявлениях: русские и украинские песни, старинные романсы, мелодии из оперетт. Этот отцовский домашний репертуар сослужил ей службу, когда Клава отправилась показываться Николаю Николаевичу Синельникову — выдающемуся харьковскому театральному режиссеру.

Трудно сказать, когда и откуда Шульженко появились в Харькове. Но, по рассказам, в разных уголках города в свое время жили члены семей Шульженко и Кочергиных (фамилия матери). Дед Клавдии, Александр Кочергин, имел в Харькове мастерскую по изготовлению вывесок. Это была обычная мещанская семья среднего достатка, упорно трудившаяся и пользовавшаяся широким выбором художественных впечатлений и мероприятий, доступных в условиях такого города как Харьков.

Своего постоянного жилья в Харькове у семьи Шульженко

не было. Принято отсчитывать их пребывание в Харькове с известного нам дома на Москалевке, на Владимирской улице, 45, на котором установлена мемориальная доска. Но, как установил автор этих строк (подтверждающие архивные документы пока не найдены), Клавдия Ивановна родилась недалеко от Владимирской, на улице Котляревской, 25, где семья жила у Григория Ивановича Мишутина. Где-то в году 1913-1914-м, когда Клаве было лет 7-8, а брат Николай уже ходил в гимназию, семья переехала на Владимирскую, 45. Об этом мне в 1991 г. рассказали друзья и соседи Шульженко, супруги Василий Васильевич и Любовь Васильевна Русановы, жившие на ул. Гостиной, 26.

Ровесник Николая Шульженко, Василий Русанов, был крестником Ивана Ивановича Шульженко. Крестили его здесь, на Москалевке, в Преображенской церкви, которая находилась рядом с кинотеатром «Октябрь».

Отец Василия Русанова, Василий Александрович (1869-1919), работал в железнодорожных мастерских на Сортировке живописцем, расписывал потолки в депо. Имея большую семью (4 сына и дочь), часто брал дополнительную работу на дом.

В нашу встречу, в 1991 г., супруги Русановы, инженеры-экономисты по специальности, были уже на пенсии. Одновременно с рассказом о днях далекой молодости Василий Васильевич подарил мне две фотографии. На одной – снимок семьи Шульженко на ул. Котляревской, 25. Слева направо: родные сестры Веры Александровны (матери Клавы), Николай Шульженко, Клава, Вера Александровна, Зинаида Григорьевна Мишутина (дочь хозяина дома). На другом снимке пикник под Харьковом (приблизительно 1899-1900 гг.). Слева (стоит) Прохор Александрович Кочергин (родной дядя Клавдии). У Кочергина была живописная мастерская (вывески). Сидят (крайние справа) Иван Иванович Шульженко, Василий Александрович Русанов.

Владимирская улица, 45. Дом где, как вспоминает К.И.Шульженко, она вместе с родителями и братом Колей жила во флигеле. Здесь маленькая Клава часто слушала своего отца, прекрасно исполнявшего украинские народные песни.

Хозяином дома был Виктор Шаповалов, столяр, который помогал Клаве и ее друзьям сооружать во дворе сцену и декорации для спектаклей и концертов. Сейчас дом выглядит иначе. Тогда же он был деревянный, мазаный, со ставнями. После войны его обложили кирпичом, изменилась и

планировка квартиры Шульженко, в которой мне довелось побывать.

Совсем недалеко, на улице Свет Шахтера, 40 (тогда она называлась Газовой) – дом Деминых, друзей юности. Самая близкая подруга Шульженко (их было четыре сестры и два брата) – Клавдия Демина, училась вместе с Шульженко в женской гимназии Драшковской, сидела с ней за одной партой.

До середины 50-х годов у Деминых простояло старое фортепиано «Дрезден», на котором играла и пела будущая певица. По словам друзей детства, у Шульженко был сильный низкий голос, который был слышен издали людям, идущим от трамвайной остановки. Здесь же, во дворе, воздвигалась эстрада, в которой звучали голоса Клавдии Шульженко, сестер Деминых и их подруг. Разыгрывались целые спектакли, но чаще всего сценки или инсценированные сказки.

Сначала у Шаповаловых, на Владимирской, потом у Деминых, на Газовой, снимал квартиру и друг детства Шульженко и Деминых, студент Харьковского университета Владимир Мозалевский. Именно он был режиссером, художником-декоратором и организатором всех импровизированных концертов и представлений. Мозалевский вместе с семьей до самой войны прожил на Газовой, 46, работал архитектором и погиб в годы оккупации Харькова.

В микрорайоне был струнный оркестр – человек десять. Сам В.В.Русанов играл на мандолине. Выступали во дворах района, в том числе вместе с Клавой и ее подругами. Неугомонная, непоседливая Клава была заводилой.

В импровизированных концертах Клавдии Шульженко аккомпанировали младшие Демины – Коля на мандолине, Зина и Клава на гитарах. С ними она пела первые свои романсы, такие, как «Растворил я окно» и «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Клава и ее подруга устраивали нечто вроде благотворительных концертов, мизерный сбор от которых передавался нуждающимся соседям. Как-то такой концерт проводился в пользу парализованной женщины-инвалида. Дети несли ее торжественно в кресле и усаживали на почетное место перед эстрадой.

Первым педагогом Клавы была проживавшая недалеко, на улице Котляревской, пианистка Солнцева. На вечерах в Гимназии Клава Шульженко читала стихи Пушкина и Лермонтова, Никитина и Надсона.

Перед тем, как вместе со своей подругой Милей

Каминской отправиться поступать в театр Синельникова, Клавдия занималась на дому у известного вокального педагога, позже профессора Харьковской консерватории, Никиты Леонтьевича Чемезова, жившего на ул. Чернышевской, 41. О нем рассказывала в своих воспоминаниях его ученица, доцент той же консерватории, Таисия Николаевна Бурцева.

По совету Чемезова Клава иногда посещала выступления приезжавших на гастроли в Харьков артистов. Еще в гимназии она слушала известную певицу Изу Кремер. Вероятно, это могло произойти 1 апреля 1916 г. в драмтеатре, куда певица была приглашена на один концерт. Кремер пела песни на русском, французском, итальянском, испанском, польском, еврейском языках. В концертах участвовали синельниковские актеры А.А.Мурский и Л.Н.Колобов. Позже, в 1919 г., она слушала известную певицу Надежду Плевацкую, память об искусстве которой сохранила на всю жизнь.

Добрым словом вспомнила Никиту Леонтьевича в своей книге Клавдия Шульженко. Он первый отметил талант певицы, но увидел ее будущее не на оперной сцене, а на эстраде: «Она хочет петь в опере, но у нее ничего не получается. Ей надо петь на эстраде...» Позже мнение Н.Л.Чемезова по-своему подтвердил и Н.Н.Синельников, тем самым определив будущий выбор певицы.

На пробе в драматическом театре весной 1923 года она исполняла с детства знакомые песни — «По старой калужской дороге», «Шелковый шнурочек». Ее аккомпаниатором был тогда молодой и неизвестный еще музыкальный руководитель театра Исаак Дунаевский, «Дуня», как ласково называли его сам Синельников и коллеги по театру.

По совету Н.Н.Синельникова в его театре, а позже в Червонозаводском театре (руководители Н.Влад и Б.Бертельс) артистка большею частью исполняла роли поющих певиц или молчащих персонажей, неожиданно появляющихся на сцене.

Оперетта «Перикола» Ж.Оффенбаха — первый спектакль для К.Шульженко и И.Дунаевского в синельниковском театре. Она выступала как певица, а И.Дунаевский дирижировал оркестром. Потом последовали маленькая роль и роль певицы в спектакле, труп в 4-м акте «Идиота» Ф.Достоевского, певица в спектакле «Казнь» Гр.Ге. На афише впервые было написано: «Певица в ресторане — Клавдия Шульженко».

Клава часто выступает в дивертисментах — концертных отделениях, устраиваемых в театре Н.Н.Синельникова после спектаклей. Здесь звучат монологи, стихи, песни и романсы, сценки из спектаклей, модные в ту пору мелодекламации.

Мысль о тождественности песни и сценической миниатюры с синельниковских времен утвердилась в сознании певицы. Чем, как не сценической миниатюрой, рассказанной певицей по воспоминаниям о вечерах и балах в харьковской гимназии Драшковской стала любимая многими песня «Три вальса»? Позже певица признавалась корреспонденту «Вечерней Москвы»: «... все пережитое, виденное, старалась запечатлеть в песнях...».

В 1925 г., когда Н.Н.Синельников с театром уехал в Ростов-на-Дону, Шульженко перешла в Червонозаводский театр на Старо-Московской, 75. В Червонозаводском театре она познакомилась и подружилась с молодым актером театра, автором эстрадных миниатюр и сценариев. Евгением Ивановичем Брейтигамом.

...С фотографии из семейного архива открыто и весело смотрит молодой высокий человек. Актер-поэт первым написал стихи для Клавы Шульженко. Он любил театр, поэзию и Харьков, хотя немецкое происхождение помешало его творческой карьере. Харькову Брейтигам посвятил такие строки:

Есть города красивые
И каждый на свой лад.
Хорош Крещатик в Киеве,
Прекрасен Ленинград.
Стоит Москва-красавица
И гордость наших дней.
Все города нам нравятся,
Но Харьков всех родней...

Автор музыки стал тогда еще студент Харьковской консерватории, будущий знаменитый украинский композитор Юлий Сергеевич Мейтус, сын известного харьковского врача-гинеколога. Уже тогда Ю.Мейтус, ученик композитора С.С.Богатырева, был профессионалом широкого профиля. У Мейтусов Клава встретила их друзей, воспитанницу ленинградской консерватории, опытного музыканта-аккомпаниатора Елизавету Анисимовну Резникову с мужем, детским врачом Наумом Векслером. Начались занятия с Резниковой, которые вывели Клаву на новый уровень, проложили новые пути.

Подробности возникновения творческого трио Брейтигам

– Шульженко – Мейтус сейчас трудно установить. Между тем, встреча с Ю.Мейтусом стала удачей для молодой певицы.

В нашей совместной с Д.Сикаром публикации, посвященной К.Шульженко и Е.Брейтигаму, использованы две одновременные находки. Д.Секар получил от сына певицы неизвестное ранее письмо Е.Брейтигама к Клавдии Ивановне, а автор настоящих строк нашел в Харькове архив Брейтигама, вернее, то, что от него осталось. В письме Е.Брейтигам после многолетнего перерыва решился поздравить певицу с присвоением звания народной артистки СССР. Вспоминая отдельные моменты далекой молодости, Е.Брейтигам называет 1 января 1925 года днем рождения Клавдии Шульженко как эстрадной певицы и пишет, что он сочинил десять стихотворений для нее, из которых известны четыре, с музыкой Ю.Мейтуса – «На санках», «Силуэт», «Красный мак», «Красная армия». В архиве Е.Брейтигама наряду с его фотографиями, черновиками стихов и миниатюр, сохранилась книга Скороходова «К.Шульженко» (вышла в 1974 г. в московском издательстве «Советский композитор») с дарственной надписью Клавдии Ивановны: «Жене Брейтигаму. Первому моему автору моих песен и хорошему товарищу. С любовью Клавдия Шульженко. 21.12.76. Москва».

Червонозаводский театр стал очередным, но не последним, этапом творческой деятельности К.Шульженко. После четырех лет работы в нем К.Шульженко с 1 октября 1927 г. – актриса театра русской музкомедии. Об этом говорят сохранившиеся в областном архиве документы. Приказом ее пребывание в театре оформлено с 1 января по 13 мая 1928 г. с зарплатой в 93 руб. За это время она выступала в спектаклях 39 раз, неоднократно участвовала в шефских концертах. В Харьковском областном архиве хранится документ на имя директора ХОУЗП Пуппе от 2.02.1928 г. с просьбой разрешить выступление группы артистов (среди них и К.Шульженко) в Осовиахиме. Сохранился договор с зам. директора ХО УЗП Хаютиным на выступление на срок с 31.07 по 9.08.1928 г., по которому Клавдия Шульженко обязуется ежедневно в программе, назначенной УЗП, исполнять один номер в вечер (пение). Она получает 216 руб. и амортизацию 54 руб. Артистка по договору не имеет права в течение срока договора выступать в других зрелищных предприятиях и клубах без разрешения УЗП.

Театр русской музкомедии располагал значительными творческими силами и пользовался успехом у харьковчан.

Среди премьеров — Е.Наровская, Н.Белецкая, Н.Бравин, Б.Хенкин, Н.Янет, Д.Васильчиков, М.Шадурский, В.Райский и др. За сезон, проведенный Клавдией Шульженко, театр поставил спектакли: «Игра с джокером», «Женихи», «Кавалер», «Миг счастья», были возобновлены такие спектакли, как «Граф Люксембург», «В стране долларов».

Успехам солистов в значительной мере способствовали опытные дирижеры Н.А.Спиридонов и С.Д.Солящанский. Сама же певица, работая в театре, уже задумывалась о своей дальнейшей судьбе, для которой Харьков становился тесен.

Весной 1928 года Передвижной рабоче-крестьянский театр четыре месяца гастролировал по Харьковской области. Выступал в Ново-Водолажском, тарановском, Змиевском, Чугуевском, Бело-Колодязном, Волчанском, Золочевском, Богодуховском и Ахтырском районах. В поездке театра участвовала и Клавдия Шульженко. Как сообщил в своем докладе по возвращении директор театра, Леонид Юлианович Предславич, в двадцати селах было поставлено 95 спектакле: «Овеча криниця», «За двома зайцями», «Гайдамаки», «Комуна в степах», «Наталка-Полтавка» и др. Спектакли Передвижного театра посетили 25 тыс. человек.

К.Шульженко приняла участие в состоявшемся после гастролей концерте вместе с артистами Домашенко, Малеевой, Лосьевым, Фрейчко и актерами эстрады Эдом и Варом. Вне театра на многочисленных концертах, сценах летних площадок и клубов она чаще всего пела второсортные старинные романсы (этого хотела публика) или зажигательные в ее исполнении латиноамериканские песни.

Шульженко становилась популярной в Харькове. Тем более ценны ныне воспоминания тех почитателей, которые еще тогда, до ее отъезда из Харькова, обратили внимание на певицу, не имевшую еще ни своего репертуара, ни своей биографии.

Одна из подруг ее юности вспоминает, как в клубе на Сортировке Клава пела песню о контрабандисте:

Умирает Себастьяно,
Шепчут бледные уста,
Креолита, ты огнем пылаешь...

Евгения Матвеевна Калгушкина, дочь харьковского купца, владельца магазина церковных принадлежностей, Матвея Калгушкина, расстрелянного в Феодосии при попытке выехать с Врангелем из Крыма, в письме к автору этих строк от 26 ноября 1998 г. Вспоминала встречу Нового 1929 года. Тогда она, студентка Художественного училища с подружкой оказались в клубе макаронной фабрики на набережной реки

Харьков. В клубе был новогодний концерт, в котором участвовали харьковские артисты: певцы, юмористы, жонглеры из цирка, танцоры. «Запомнилось мне выступление популярной в то время в Харькове певицы Клавдии Шульженко. Стройная, в сером платье с вышивкой, с пышной прической, она пела много песен под бурные аплодисменты благодарных зрителей. Из ее песен мне запомнилась модная тогда «Снежинка»:

Моя снежинка, моя пушинка,
Моя царица волшебных грез,
Моя снегурочка, моя хрустальная,
К твоим ногам я все принес...

Всегда я была поклонницей Клавдии Ивановны Шульженко и остаюсь ею...»

В то время певица начала смутно чувствовать, что у нее репертуар и собственная биография должны если не совпадать, то стремиться к сближению. Это было следствием музыкальной одаренности и развития творческого сознания артистки, работы, проделанной Н.Чемезовым и Н.Синельниковым, и продолжили новые соратники и учителя. Здесь оставались родные и друзья: балерина Клавдия Гребеник, подруга юности и соседка, и первая любовь и муж, поэт Илья Григорьев.

В 1930 г. Шульженко вместе с Резниковой выступает на исторической стройке Харьковского тракторного завода. С этих пор приезды в Харьков становятся эпизодическими. Гастрольные поездки по стране занимают много времени и лишь изредка маршруты приводят в родной город.

В 1933 г. умерла мать Клавдии Ивановны, похороненная сперва на старом москалевском кладбище, а позже, в связи с ликвидацией кладбища под строительство завода им.Шевченко, по просьбе Клавдии Ивановны перезахоронена на Первом городском кладбище в р-не пос.Высокий. Отец певицы, Иван Иванович, после смерти жены несколько месяцев жил у родственников на ул. Новодесятисаженной, 21. Умер он в ленинградскую блокаду и похоронен на Серафимовском кладбище.

В январе 1948 г. Клавдия Шульженко и ее муж известный эстрадный артист Владимир Коралли выступали в Харькове. 45-летие артистка с мужем отмечала в Харькове, вместе с Е.Резниковой и ее мужем, Н.Векслером у них дома, на Сумской, 17. Свадьба Клавдии Шульженко с Владимиром Коралли состоялась в квартире Мейтусов, на третьем этаже дома по ул. Рымарской, 19.

В свой приезд в Харьков в сентябре 1949 г. артистка

встречалась со старыми знакомыми по Червонозаводскому театру – директором театра миниатюр, засл. артистом УССР Виктором Александровичем Аврашовым и артистами того же театра Федором Яковлевичем и Евдокией Евтихievной Краснокутскими.

18, 19, 22, 23 августа 1960 г. певица, тогда заслуженная артистка РСФСР, выступала в Оперном театре и ДК ЗЭМЗ в концертах, организованных Харьковской филармонией. В один из приездов в Харьков Клавдия Ивановна подарила местной певице. Александре Кондратенко, известную песню В.П.Соловьева-Седого «Россия». С тех эта песня неоднократно звучала в концертах Кондратенко, а однажды вместе с другой харьковской певицей Софьей Мостовой спела на ее встрече в редакции газеты «Красное знамя». Последнее выступление Клавдии Шульженко в Харькове состоялось в ноябре 1977 г. в новом Дворце Спорта.

Проследить за стремительным ростом певицы и оценить ее достижения – создание собственного репертуара, проникновенную трактовку исполняемого – не успевали даже специалисты-музыковеды и близкие товарищи по искусству – Леонид Утесов, Исаак Дунаевский. В 1981 г. Л.Утесов писал о давно оставленных в прошлом кумирах Шульженко, вспоминая «псевдоэкзотические изломанные песенки Изы Кремер». Слово сам не был неоднократно бит за верность блатной одесской лирике. А Исаак Дунаевский в 1950 г. в статье «Наши друзья» верно, но как-то сухо, учитывая связывающие их годы, отмечал: «Установив в былое время свой исполнительский стиль и манеру исполнения полусалонной джазовой песни, Шульженко за последние годы многого добилась в стремлении поставить свое незаурядное исполнительское дарование на службу советской современной теме...».

Любящий и верный слушатель Клавдии Ивановны всегда следовал за ней, успевая понять и полюбить ее песни, забирая их в свою жизнь на долгие годы. Без харьковской поры Шульженко не было бы таких шедевров, как «А снег повалится», «Песни о любви», «Вальс о вальсе», «Руки» и других...

А земляки певицы гордятся тем, что Харьков способствовал становлению советской эстрады, подарив столице звездные имена Марка Бернеса, Владимира Хенкина, Исаака Дунаевского, Эммануила Каминки. Среди них – великая Клавдия. Время летит так быстро, а ее родной, волнующий людей разных поколений голос по-прежнему открывает и соединяет сердца.

Юрий ТАТАРИНОВ

«...НО ВЕТО НЕ НАЛОЖЕНО НА СОВЕСТЬ»

* * *

Мне бы жить научиться попроще
И не делать из мухи слона.
Светлой прозой берёзовой рощи
Упиваться с темна до темна

Мне бы жить научиться спокойней,
Да такая случилась беда:
Удила закусившие кони
Понесли неизвестно куда.

Мне бы жить научиться, как надо.
Да, наверное, уже не смогу.
Я в цветенье вишнёвого сада
Видел пристань на том берегу.

* * *

Жизнь; она куда как прозаична:
Редкая потянет на роман,
В ней совсем немного земляничных,
Ягодюю устланных полян.

А судьба – паскудная стряпуха,
Если и побалуует в обед,
На десерт уважит оплеухой
И пинком попотчует вослед.

Может быть, я чуть сгущаю краски,
Как не верю сонмищу примет.
Долей в целом не был я обласкан,
Но роптать причин особых нет.

Как у всех случаются накладки,
Как у всех финансы на бобах.
Как у всех...
А стало быть, в порядке.
Главное, чтоб с совестью в ладах.

Ну, откуда такая усталость,
Словно жито цепом молотил?
Что мечталось, увы, не сверсталось,
Думал: грезится – вышло, что жил.

Не скорблю, не страдаю вдогонку.
Свой всему обусловлен черёд.
И фотограф отснятую плёнку
Между делом в запасник кладёт.

Всё слабее и зреньё, и хватка,
Всё тернистее каждая пядь.
В чью-то душу не лезу украдкой,
И свою не позволю распять.

И ступни до живого сбивая,
Продираясь сквозь слякоть и мрак,
Я при мысли, что суть постигаю,
Всякий раз налетал на косяк.

Ну, вот и славно: зиму пережили
И даже знаем, как себя вести.
Даст Бог, не скажут – лишку пригубили,
Препоною явились на пути,

В чужие сани лошадь запрягали,
Не в том клубке распутывали нить,
Загадок бытия не разгадали...
Да, впрочем, что об этом говорить.

Иная жизнь... Совсем иная поросль,
Иных страстей захлёстывает вал,
Но вето не наложено на совесть
И слово «честь» никто не отменял.

Спит старый кот, уткнувшись мордой в блюдце,
Настолько стар, что сам себе не рад.
Осталось сил до пищи дотянуться,
И чаще всё вслепую, наугад.

Слезится глаз, не заживает ухо,
Скаталась шерсть от шеи до хвоста.
По меркам человеческим и наукам
Ему никак не менее лет ста.

Вопрос всегда открытым остаётся:
Как должен с ним хозяин поступить –
Так доживать бедняге доведётся,
Или, быть может, просто усыпить?

Один укол – расставлены акценты.
Ни боли, ни излишней суеты.
Один укол, что так эквивалентен
Звериному оскалу пустоты.

Не лукавлю к месту и не к месту,
Потому купонов не стригу.
Не ищите некого подтекста:
Перед вами я как на духу.

За минор излишний не корите,
Всё худое порастёт быльём.
Мировых не делаю открытий,
Что сказал – воистину моё.

Не питал бредовые идеи,
Не в охотку грыз гранит наук,
Перед золотом не благоговею,
Не плету тенёт, как тот паук.

Из породы молодых да ранних,
Я прошёл по лезвию ножа.
Не опалишь водкою гортани,
Если спиртом выжжена душа.

Дружбы не навязывал и мненья,
Пёхом свой осилил перевал.
Может потому на построенье
Раньше срока к Богу не попал.

Вы всё уже давным-давно забыли,
Передо мною ж всё, как наяву.
Не потому, что Вы меня любили,
А оттого, что этим я живу.

Иные чувства все не тревожат,
Не застыт даль иные миражи.
Ещё не цвел тот чудо-подорожник,
Что я смогу на рану положить.

Так пусть же всё останется, как было,
Тем таинством блуждающих комет,
Не оттого, что я забыть не в силах,
Но оттого, что вспыхнет дальний свет.

«Не понят, не понят, не понят» –
Шептал он на зимнем пруду,
И облачко – беленький пони –
Копытцами било по льду.

Седая ветла усмехалась,
А лес, как в ненастье, гудел:
«Не надо пенять на усталость,
Не стоит роптать на удел.

Не ты выбирал свою участь,
Судеб непреложен закон».
Теплело.

Кружилась над кручей
Лохматая стая ворон.

«Воздастся за труд, но при этом
Крутых не поставишь хором».
И облачко-пони поэту
Лизнуло щеку языком.

* * *

Не знаю – что, но что-то да случится.
Не зря всплакнула ива над прудом.
Уйти – уйду. Но чтобы возвратиться:
В такое всё же верится с трудом.

Хотя о том достаточно наслышан.
Вся эта блажь – скорей фатальный бред.
Не может быть на яблонях и вишнях
Из года в год один и тот же цвет.

Нельзя ступить в одну и ту же воду,
Нельзя войти в один и тот туман.
Увы, не мы здесь делаем погоду
И всё подчинено, увы, не нам.

Себя богами рано возомнили.
Любой батог всегда о двух концах,
Но мы об этом напрочь позабыли,
Забросив сруб на первых же венцах.

* * *

Вот и всё, похоже. Осень.
Надо быть настороже.
Торный путь листва заносит,
Что на сердце – то в душе:

Только-только встал на ноги,
Только пот смахнул с лица,
Как уже пора в дорогу,
Ту, которой нет конца.

Не глобальная проблема,
Не Бог весть какой урон.
Отработанная схема
Всех народов и времён.

Разве мельком то смущает
И грустить принудит впредь:
С другом там за рюмкой чая
Ну, никак не посидеть.

* * *

Минус пять – не минус тридцать
Да с попутным ветерком.
Нету повода журиться:
Март – парнишка с гонорком.

То – потешится теплыню,
То – пожалует снежком,
То в глазах девичьих синим
Вдруг займётся огоньком.

Искушающим и страстным,
Пепелящим всё нутро...
Вот уж точно – жизнь прекрасна,
Вот уж точно – бес в ребро.

* * *

Как скворец на зорьке разошёлся,
Словно шанс боится упустить.
То ль подругой новой обзавёлся,
Или давней всё сумел простить.

Не душой выводит трели, сердцем.
Превзойдя возможности свои,
Вдруг такое выкинет коленце-
Отдыхают в мае соловьи.

Эх, дружок, твои бы мне заботы,
Я бы тоже смог, как ты, блистать.
Что любовь ушла бесповоротно,
В сотый раз не стоит поминать.

Упрекнуть: есенинские нотки.
Как умею скворушке воздам,
Хоть и не был падким я на водку,
Не ходило счастье по пятам.

Только жизнь она куда сложнее,
Редко что исполнится на «бис».
И певцу, наверное, виднее
Без чего никак не обойтись.

* * *

Я совета спрашивал у Бога,
Как прожить спокойно, не спеша,
Что с собою надо взять в дорогу,
Чтобы светом наполнилась душа?

Отвечал Господь витиевато,
Больше всё настаивал на том:
Дескать, нет восхода без заката,
И бывает пуст без веры дом.

Что, мол, жизнь – не скатерть-самобранка,
Но и не порожняя сума,
Существует некая изнанка,
Словом, где Ерёма – там Фома.

Не стремись ни в рай, ни в преисподню,
Избегай никчемной суеты,
Не кощунствуй именем Господним:
Есть межа у всякой доброты.

Хочешь быть счастливым, значит, стань им.
И живи за совесть, не за страх.
Я – канва, основа и фундамент,
Остальное всё в твоих руках.

Антонина СЫТНИКОВА

«СТОИТ СТАРУШКА НА КОЛЕНЯХ...»

* * *

«Ты жива еще, моя старушка...»

Пока живут еще старушки
В людьми забытых деревнях
И травы собранные сушат
В духмяных сумрачных сеньях,
Где вековые ароматы
Полыни, мяты, чабреца
Рядом с трехведерным ушатом,
На лавке старый след корца...
Жива Россия. И пред Богом
Все еще может быть права.
И говорят ему о многом
Молитвы простенькой слова:
«Подай сегодня хлеб насущный,
И отведи от нас беду.
Тот срок земной, что нам отпущен,
Дозволь прожить с собой в ладу...»
А вверх уходит – Боже Правый –
Спаси Россию в трудный час!
Многострадальная Держава
Опять в плену. На этот раз
Не мчится с гиканьем и свистом
Лихой раскосый басурман,
Не танк ползет, не слышен выстрел,
Лишь клевета, подлог, обман.
Растет невидимая сила
И разрушает изнутри.
Благословенная Россия
В незримом пламени горит.
И с каждым днем огонь все выше,
Неистов, яростен и лют.
Но вечерной набат не слышит
Беспечен православный люд.
И лишь отдельные моленья
Осанну Вышнему поют.
Стоит старушка на коленях –
Спасает Родину свою.

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Мороз крепчает на Крещенье.
Народ, по древнему преданью,
Ждет искупленья и прощенья
После купанья в Иордани.
И, может быть, надеждам внемля,
Придет – в который раз – по водам
Спасать поруганную землю,
Однажды принятый народом,
И распинаемый так часто
В душе у каждого грехами,
С неиссякаемым участием
Вновь наблюдающий за нами.

ДВЕ МАТЕРИ

Когда в саду роскошно птицы пели,
Светило солнце на макушку дня,
Две матери у детской колыбели
Укачивали песнями меня.

Две матери – Россия с Украиной.
Моя любовь и нежность. И тоска
По времени, когда они – едины.
Одной картины два цветных мазка.

А позже дед рассказывал мне сказки
О реках меж кисельных берегов,
Куда наш предок накануне Пасхи
Пришел обороняться от врагов.

И, зову сердца без оглядки внемля,
Он не жалел ни времени, ни сил.
И полюбил тогда Сумскую землю
Не меньше, чем Орловщину любил.

Вдыхая сладкий запах медуницы,
Здесь преграждал дорогу чужаку.
Даль озирая с берега Ворсклицы,
Он вспоминал далекую Оку.

Отец мой тоже принял эстафету.
Он в сорок первом сел на самолет,

Чтоб в сорок третьем, на исходе лета,
Прервать на время длительный полет.

В слегка осевшей, старой русской хате
Стоял духмяный запах чабреца –
Возле Орла, в Приокском медсанбате
От ран лечили моего отца.

И, перевязки делая умело,
Установив нежданное родство,
Сестричка русская душевно пела
Украинские песни для него.

Замкнулся круг, наполненный любовью.
Я – русская, украинка – сестра.
Два факела горят у изголовья,
Зажженных от единого костра.

И зову сердца как теперь не верить!
Орловщина – моя вторая мать.
Я прихожу сейчас на Окский берег,
Чтобы Ворсклицу с грустью вспоминать.

* * *

«Сонэчко!» – нежно коснулась
Трепетных струн Украина.
Юность, далекая юность
Встала опять возле тына.
Солнце застыло в зените,
В воздухе – горечь полыни,
Марева зыбкие нити
Делают вещи иными.
Плавают томно стрекозы,
Смотрят, чтоб все было в норме,
Где-то за кучей навоза
Курица выводок кормит.
Спелое яблоко звонко
Шлепнуло боком о землю,
Завороженно буренка
Звону подойника внемлет.
Брызнут пахучие струи,
Первая кружка для внучки,
С легкой улыбкой подую

В белую пенную тучку.
«Сонэчко, – бабушка скажет, –
Дуже тонэнька ты стала».
Фартук неспешно повяжет.
«Можэ, видризаты сала?»
Голос смешинкой взорвется,
Высветив прошлого дали.
Словом, лучистым от солнца,
Вы меня снова назвали.

* * *

Прикоснулась к корням,
Вновь припала к истокам,
Напоили меня
Здесь живительным соком
Эти лес и река,
Что достались в наследство
На года, на века
От далекого детства,
Где за рыжей горой
Притаилось болото,
Там ночами порой
Плакал жалобно кто-то.
Мне печаль иногда
В сердце снова стучится,
И неясно тогда,
Плачу я или птица.

* * *

Не всколыхни серебряный сосуд,
Наполненный животворящей влагой,
И этих удивительных минут
Сумей сберечь дарованное благо.
За светлым днем придет, быть может, день
Неясности, тревог, непониманья,
Когда размолвки замаячит тень,
И все укроет сумрак расставанья.
Но будет память бережно хранить
Богатство, обретенное однажды,
И прежних дней связующая нить
Когда-то станет в жизни самой важной.

* * *

Летний вечер тихо гаснет
В засыпающем лесу,
Пахнет листьями и счастьем,
Дремлют ветки на весу.
Край берез ласкают нежно
Солнца алые лучи,
Тишина и безмятежность,
Только дятел все стучит.
Но лениво, монотонно,
Будто нехотя уже,
На тягучем и бездонном
Дня и ночи рубеже.

* * *

Лист на ладонь мне, кружась, опустился,
В темных прожилках зардевшийся лист.
День наступивший росой умылся –
Так лучезарен, прохладен и чист.
Я наберусь чистоты и прохлады,
Стану сама этой свежей росой.
И ничего-то мне больше не надо,
Только брести, по тропинке, босой.

* * *

Какое пламя в небесах,
Какое пламя!
И облака, как паруса,
Плывут над нами.
И гомон ласточек стоит
Неудержимый.
Над лугом бабочка скользит
Все мимо, мимо.
Вонзают сосны в облака
Верхушки-стрелы,
Где небосвода край слегка
Подкрашен белым.
Шмель загудел и полетел
Своей дорогой.
Наверно, он сказать хотел:
«Ты нас не трогай».

У тучи космы разметал
Беспечный ветер.
Себя не зная, красота
Царит на свете!

* * *

Как мне мила, деревня,
Покой и тишина.
Чуть сонные деревья
Склонились у окна.
И угольками звезды
Рассыпались во мгле,
И ничего не поздно,
Пока я на земле.
Могу слегка потрогать
Росинку на листе,
На выступе порога
Могу сейчас присесть.
Могу пройти по саду
И яблоко поднять,
И все-таки мне надо
Здесь многое понять...

Роман ЛЕВИН

ПОМНИШЬ ТЫ, ПОМНЯТ ТЕБЯ**КНИГОЧЕЙ***Б. Чичибабину*

Мой друг, помимо собственных изданий
Ты подарил мне много разных книг.
И в дружеской душевности признаний
Оставил слово дарственное в них.

Читаю, перечитываю, помню,
Каков был книжный у тебя запой,
Каким был содержанием наполнен
Мой каждый день в общении с тобой.

Поэт достойный, значимая личность,
Был у тебя, как и у всех у нас,
Властитель дум, которого привычно
Менял, всходя на жизненный Парнас.

Толстой и Пушкин, под конец Бердяев.
Тут никому не скажешь ведь «Прощай».
Что, как не книги, книгочеи дарят?!
В них мысль и чувство, радость и печаль.

Характеры, и жанры, и сюжеты....
Но наша жизнь, дружище, с юных лет,
Как вся эпоха, канувшая в лету,
Сам по себе немислимый сюжет.

ПОМНИШЬ ТЫ, ПОМНЯТ ТЕБЯ*Бор. Чичибабину*

Ах, Боря, Боря, такой же, как и я,
Ты помнишь тех, кого считал друзьями?
Ведь были все мы, как одна семья,
Но большинство уже в могильной яме.

Как Лёня Тёмин, Гена Алтунян,
Алеша Путачев, Басюк и Пинский...
Не счесть, увы, неисцелимых ран
И бесконечных поминальных списков.

Всё это навсегда воплощено
В твои, Борис, пронзительные строки.
Но и тебя, о Боже, нет давно:
Мы из другого века и эпохи.

Где помнили и чтили тех друзей,
Которых нынче так нам не хватает,
Что и в названье улицы твоей,
И в книгах, кои мы взахлёб читаем.

И не они ль продиктовали мне
Слова благодарения нежданно,
Что никогда ты не был в стороне
От тех потерь, что с нами постоянно.

Где имена, и лица, и сердца
Так изначальны и неугасимы.
Ты поминал в стихах их до конца,
Как поминают и тебя, вестимо.

Но тех, кто с ними лично был знаком,
Уже, увы, почти что не осталось.
Один из них я памятью влеком,
Не принимая во вниманье старость,

Стремлюсь в ту пору дней, да и ночей,
Где мы с тобою были неразлучны.
Чтоб всё восстановить до мелочей,
Ну, что ещё желаннее и лучше?

ЧУДО

Мы дарим любимым подарки...
И гордо у всех на виду
По солнечным улицам марта
Красавицы наши идут.
Сквозь милую хитрость косметик
Их ясное светит чело.
И если есть чудо на свете –

Всё в женщине воплощено.
В её материнстве извечном,
С которого так нехитро
Пошли все великие вещи:
И жизнь, и любовь, и добро.
В её работающем таланте,
Который вовек, хоть казни,
Никто никогда не оплатит,
Поскольку не хватит казны.
В умение прощать и прощаться
И жить на судьбу не ропща,
И видеть заветное счастье
Сквозь злую завесу дождя.
И если ты добрый и чуткий –
Признаешь в любимой своей
Не женщину просто, а чудо
И низко поклонись ей.

СПУТНИЦА

Серп месяца контрастно прорисован
Природой на небесном полотне.
Мы на земле относимся особо
К своей надежной спутнице – луне.

В ней, как и в нас, этапы возрастные
Рождение, юность, полнолуния свет.
Ну, разве что параметры иные,
Где лунный месяц – наши много лет.

По ним астролог строит предсказания.
А мы, любясь спутницей своей,
К ней даже отправлялись на свиданье
Ступенями ракетных кораблей.

И по её поверхности гуляли.
И принимала, как гостей, луна.
Какие б нас не разделяли дали –
Нет в космосе нам ближе, чем она.

РЕГРЕССИВНЫЙ ПРОГРЕСС

Мы с вами убеждаемся все чаще,
Что мир и человечество, увы,
Шагает не всегда по восходящей,
Обогащая души и умы.

Прогресс не только в электронном новшестве,
Где главное мобильник, интернет,
Поскольку и других моментов множество,
Без коих полноценной жизни нет.

Уклад, мораль, духовная культура...
Ну, где тут обновление и прогресс ?!
Совсем иная сущность и фактура
К тому же меркантильный интерес.

Наверно в человеческой природе
Свершать те вкусовые виражи,
Когда звучанье песенных мелодий
Орущий шоу-бизнес заглушил.

Такие вот у всех времен зигзаги,
В чем с вами убеждались мы не раз.
Меняла государственные флаги
История, хотя не ренессанс.

А иногда и вовсе одичанье.
Наверное важнее во сто крат
Не ожиданье и не обещанье,
А истинный, реальный результат.

Елена ОЛЕНИНА

СЕРДЦЕ ЗВЕНИТ, КАК РАЗБИТЫЙ ХРУСТАЛЬ

ХАРЬКОВУ

Как выжидающий противник,
Как вожделенный паладин,
Мой вечный город, мой пустынный,
Мой луноликий Алладин!

Над бездыханною Держинкой
Твой воздух черен и тягуч,
Но нежно сыплются снежинки
Из древней пудреницы туч.

Мой миф, мой иероглиф-город
В корсете, нет, под прессом глыб
Весь тротуарами распорот...
И фантазмагоричных рыб

Плывут троллейбусные тени,
И на крахмальных простынях
Ты в царственной томишься лени,
Не помышляя о делах.

И что тебе в твоём блаженстве,
В твоей божественной тиши,
Моей любви слепые жесты
И неприкаянность души.

* * *

Пусть эти дни короче
Сгоревших папирос,
Но бесконечны ночи
С непостоянством звезд!

Так поскорей вдыхай же
Апрельский сладкий хмель,

Где в тишине горчащей
Проснулся соловей.

Где жизнь и смерть смешались
С зелененькой травой,
Где сладко дремлют пашни
И рай над головой.

Где все тепло и зримо,
И где выводит трель
Наш первый, шаловливый,
Безумнейший апрель!

ОДА СЕЛЕДКЕ

Изумленно выдохнул чайник:
Проплыла из сказки лебедкой
Мимо нас легко и печально
Перламутровая селедка.

В обольстительно тоненьком платье,
Как гимнастка под куполом цирка.
В кольцах лука, как в жгучих объятьях,
Ты стройна и изящна, как циркуль!

Мотылек, акробатка, девчушка,
Черноглазая рыбка-кокетка!
От какой же ты страсти, подружка,
Угодила в рыбацкую сетку?

Ах, сама я наивней ребенка
Дожила до десятой морщины,
А бывало любила поддонка,
Словно лучшего в мире мужчину!

Океаном пропахшие ночи
И сжимавшие сердце посулы
Обернулись обычной бочкой
И простым, а не пряным посолом.

И визжит истерический чайник,
Наблюдая последнее сальто, —
Как ты взмоешь стремительной чайкой!
И затихнешь на листьях салата.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Улица пропитана сиренью.
Твой балкон на третьем этаже.
Словно благовонные куренья
Пахнет майский вечер. В гараже

Снова чинит вечный «Запорожец»
Мой отец ворчливый и седой,
А соседка поливает розы
Из ведра колодезной водой.

Надеваю стоптанные туфли
И брожу по городу, как встарь.
Здесь горел оранжевый фонарь,
А вон там — зеленый свет на кухне.

В переполненном и душном баре
Мы ловили кайф под рок-н-рол
И виски безжалостно сбрасывали,
И чифиром разгоняли кровь.

Рисовались странные картины,
Приходила музыка из грез...
Здесь одно надолго и всерьез —
Нелюбовь к лохастым и кретином.

Древний Будда — гипсовый божок —
На высокомерье человека
Снизу вверх смотрел, прищулив веко,
И дудел в серебряный рожок.

Ах, в каком немыслимом романе
Эта жизнь! За сеточкой гардин
Вечером картошку жарит мама,
И щебечет мой беспечный сын.

В КРЫМУ

Здесь девушки с ногами страусиными
И каждая (загар!) почти красавица!
Взмахнула чайка крыльями красиво
И лапками едва воды касается.

Беспечность. Вкус воды. И запас снасти,
Но солнце вдруг ужалило в затылок.
И снежным комом накатились страсти
На нежных одуряющих блондинок.

Батиком модным расстелили море.
...Дурачатся драчливые дельфины,
Как пацаны на дворовом просторе,
Атласом серым выгибая спины.

И мы с тобой лежим, как две таранки,
Пропитываясь солью и загаром,
Как бедный иностранец с иностранкой,
Кусочек счастья получив задаром.

Что есть добро? И что есть зло?!
Удачна жизнь ль неудачна?

Стаканы целовались смачно...
И было сладко и тепло.
И только сердцу стало больно
На пять каких-нибудь минут.
Не так, как на ожоги солью,
А так, когда ботинки жмут.

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

На ржавом рассвете разбужена осень
Трезвоном пролетки.
Курчавится проседь.
Все тает октябрь карамелью во рту,
Да инеем парк обрастает к утру.

А осень-беглянка, а осень-простушка
Играет судьбой, как ребенок игрушкой.
И делает вид или вправду не знает,
Что держит за пазухой зимушка злая.

Но Пушкин в ударе, и солнце щебечет,
И тени не так безнадежны под вечер,
И сердце звенит, как разбитый хрусталь,
И осень, как девка, целует в уста!

Василий ОМЕЛЬЧЕНКО

ТАМ ЖИЛИ ПОЭТЫ...

*Там жили поэты и каждый встречал
Другого с надменной улыбкой...*

А.Блок

Не так давно прочитал в газете статью «Поэты нашего двора». В ней шла речь о проекте «Харьковские дворики». Уже от одного этого слова «дворики», душевного, родного, сразу повеяло теплом воспоминаний. И возникла потребность тоже что-то поведать о «харьковских двориках», так сказать, внести и свою лепту в литературную историю Харькова.

Перед мысленным взором вмиг предстала целая череда «двориков», а стало быть, и знакомых, дорогих лиц: дом «Слова»... «Скворечник» на Бурсацком спуске... панельные «хрущевки» на Павловом Поле... дом на Веснина...дома, которых уже нет...

Но прежде, чем продолжать, наверное, стоит несколько слов сказать о времени, в котором жили мои земляки — «инженеры человеческих душ».

Сегодня те, не самые далекие времена, называют «оттепелью», а следующее за ними годы — «застоем». Оттепель — да, была такая. Творческим людям частично попустили поводья, позволили писать смелей, правдивей... Появились новые имена и очереди на чтение их книг. А вот насчет застоя... Я бы все-таки назвал то время как-то иначе, может быть, — «стабильность».

Так вот, о «двориках».

Бесплатная машинка

Дом «Слова», что на улице Культуры. Через дорогу от этого массивного серого здания с высокими окнами раскинулся огромный дом из красного кирпича — во весь квартал. Его, кажется, называли командирским домом — там жили военные, в основном летчики. А в доме «Слова», как

известно, жили писатели (сейчас там живут люди других самых разных профессий). Мы, дети военных, почему-то недолюбливали детей из писательского дома, «воевали» с ними (надо же мальчишкам с кем-то воевать!) и дразнили их «письменныки-варэныки». Не думал тогда автор этих строк, что со временем он тоже станет «варэником» и частым гостем в писательском дворе.

Там, спустя многие года, общался с Борисом Котляровым, Львом Галкиным, Иваном Багмутом, Костем Гордиенко, Владимиром Добровольским, Иваном Шутовым, Робертом Третьяковым...

Чувствую, что сухое перечисление имен жильцов дома мало будет интересно для читателя. Тут, пожалуй, необходимы запомнившиеся истории. К примеру, вот эта.

В шестидесятые годы мечтой каждого молодого писателя была своя пишущая машинка. Желательно — портативная. А у Ивана Шутова их было целых две: миниатюрная «Олимпия», которую он привез после войны из Германии, старенькая, с «хромающей» буквой «с» и только что купленная мощная и, главное, с крупным шрифтом — «Reinmetall». И вот решил он одну продать. А я — загорелся приобрести...

Иван Никитич — человек мягкий, душевный и очень добрый, как-то виновато развел руками: «Не знаю, как быть... я бы с тебя денег не взял, подарил бы просто, но сегодня рано утром закончил новую повесть «Зеленые жирафы», о стилигах и надо бы это как-то отметить...». Разговор шел в клубе Союза писателей. Мы вышли на улицу и решали, куда следовать дальше. Чего скрывать, пишущие люди не чурались чарки. Стали прикидывать, что имеем в карманах. Оказалось, не особенно густо.

Лев Галкин, фронтовик, оптимист, душа компании и мастер каламбуров как бы вскользь заметил:

— Да ты же, Ваня, на днях, кажется, получил за книгу аванс...

— Получил... Но ты же, Лева, мою Женю знаешь... (супруга И.Шутова - В.О.) — как-то пресно обронил Шутов, и недовольный замолчал.

Галкин вдруг расплылся в широкой улыбке и, осененный творческим порывом, деланно пафосно изрек только что возникший каламбур:

— У Жени деньги - уже не деньги!...

То есть отдал и простился с ними...

Потом Шутов сказал, что ждет денежный перевод из Киева и предложил: если сейчас в почтовом ящике у него будет

перевод, он дарит мне «Олимпию» и все мы идем ее обмывать. А если нет... — он неопределенно пожал плечами.

Минут через десять мы стояли во дворе дома «Слово» в нетерпеливом ожидании результата — есть перевод или нет? Через пару минут из подъезда выходит наш дорогой товарищ... Вид у него зажато торжественный. И было отчего: в одной руке, как чемпион медаль, он держал на виду заветную бумажку-перевод, а в другой — пишущую машинку «Олимпия».

— На почту, а потом — в «Кристалл»... — сказал он и протянул мне мою мечту — пишущую машинку: — Дерзай, старик!

Честная компания вмиг оживилась: в «Кристалл» — это дело!

Стасик Шумицкий, поэт и журналист, прирожденный знаток украинского языка и, как все поэты, мастер на импровизацию, тут же срифмовал:

— Мой друг пристал — айда в Кристалл!

Ваш покорный слуга в тот вечер покинул компанию раньше других — не терпелось поставить на стол драгоценный подарок и начать «держаться» — по-современному.

Наш Дед

«Старику», то бишь, автору этих строк, как и многим собратьям по перу, тогда не было и тридцати. Тогда в ходу было это бравадное — «старик». Однако был в харьковском писательском сообществе и настоящий старик или, как за глаза его почтительно называли, Наш Дед — Кость Алексеевич Гордиенко. Авто знаменитого тогда романа «Буймир», лауреат государственной премии имени Т. Г. Шевченко. Он тоже жил в доме «Слово», правда, большую часть времени проводил в чудесном местечке с поэтическим названием Лебедин... Маленький городок с красивыми церквями и гоголевским базаром с обязательными козами. Нас сблизало то, что в сорока километрах от Лебедина находилось мое родное село — и на малую родину я ездил через этот райцентр. И, конечно же, каждый раз навещал нашего Деда.

Когда впервые сказал, где родился, Кость Алексеевич просиял:

— О-о, да в твоих краях имел поместье наш земляк — поэт Василий Гуманский, друг Пушкина...

Говорить было о чем. О делах в харьковской писательской организации, о рыбалке и охоте, о целебной и вдохновляющей силе природы, о том, каков герой нашего

времени — тогда это было актуально.

Помню, однажды при встрече Кость Алексеевич был хмур. Поздоровавшись, тут же пояснил:

— В русской «Литературке» обнародовали наш спор с Паустовским — какого цвета дикие голуби, белые или темные...

И пояснял, почему иногда они кажутся белыми — когда видишь их на фоне черной тучи... Он был знаток природы и человеческой души.

Жил Кость Алексеевич в сосновом бору на окраине городка в небольшом кирпичном доме, который состоял из двух половин: справа от входа в сени — хозяйкина часть (она жила с сыном) а слева — комната писателя, к моему удивлению, одна... Более чем скромная обстановка: большая кровать, застеленная простым покрывалом, письменный стол, возле него огромный сундук, похожий на диван, за которым Дед держал «горючее» — к нему часто приезжали гости, и не только из Украины, а до магазина топать и топать! Автомобиля у писателя не водилось отродясь, а человек он был хлебосольный..

Однажды я поинтересовался, почему Кость Алексеевич не приобретет дом, к нему же часто приезжают гости! Тем более, что человек он вполне состоятельный, книги выходят часто и хорошими тиражами...

Гордиенко лукаво скосил глаза и сказал, по-моему, то, что говорить не очень хотел, но мы уже пригубили по чарке и обстановка располагала к откровенному разговору:

— Если бы у меня был дом, когда бы я работал? — спросил он и прищурил глаза. — Вот ты заехал ко мне — я рад... Ну, перекусили, погутарили по душам и ...

Он подыскивал слова, чтобы не обидеть собеседника и потому я сам подсказал:

— И я не засижусь...

Дед протянул мне крепкую крестьянскую руку.

— Понимаешь...

Поинтересовался я однажды: почему он живет один, в смысле, без семьи? Такой вопрос, может быть, и не стоило задавать, уж больно он личный, деликатный, хоть мы и были давними... нет, не друзьями, и не приятелями — хорошими знакомыми, к тому же — земляками. И Кость Алексеевич, к моему некоторому изумлению, как-то уж больно твердо произнес:

— Хочешь долго жить — живи один...

Конечно, писатель Гордиенко жил не один... И вместе с тем — один, то есть он был свободен. А свобода так

необходима творчеству! Свобода — это воздух для художника!

Кость Алексеевич написал много хороших книг и жил долго — девяносто четыре года. Сколько «проживет» в литературе «патриарх украинской литературы» — покажет время. Когда К. Гордиенко состарился, окончательно перебрался в Харьков и последние дни провел в доме «Слово».

«Скворечник на Бурсацком

«Скворечник» — дом на Бурсацком спуске... Крутые, скрипучие деревянные ступени вели в маленькую квартирку большого поэта — Бориса Чичибабина. Здесь бывали разные люди. Один из первых бардов в Советском Союзе Леша Пугачев — невысокий крепыш, который под гитару пел свирепым голосом свои и чичибабинские песни. Сюда заходила выпить чашечку кофе Александра Лесникова — обаятельная, талантливая... Она со сцены доносила до людей лучшие стихи и прозу любимых писателей. Аркадий Филатов, поэт и киношник, художник Валентин Чернуха (Пугачев, кстати, тоже рисовал и однажды по его просьбе я привел художника профессионала, чтобы он оценил творчество артиста и певца)...

Словом, в доме на Бурсацком всегда было многолюдно и интересно. Что меня сближало с Борисом Чичибабиным? Оба мы служили в армии — таким людям проще понимать друг друга. Мы не были членами партии и мыслили свободней от партийцев. За инакомыслие Бориса Чичибабина пытались отлучить от поэзии — запретили печатать. В то время были списки — кого не печатать. Не печатали поэта Чичибабина почти двадцать лет!

Меня тоже на какое-то время перестали печатать, но по другой причине. Шла борьба с тунеядством, а ваш покорный слуга нигде «не служил», то есть не работал. Когда об этом узнали «там», то сказали: не печатать его до тех пор, пока не пойдет работать. Не член союза писателей тогда не имел права нигде не работать... Но я же кормил семью... Пришлось найти работу — в «Гидрометобсерватории», гидрологом. А прекрасный русский поэт, которому самим Всевышним было предписано творить поэзию и дарить ее людям, на долгие годы оказался в трамвайно-троллейбусном парке на далеко не поэтической работе бухгалтера.

Но главное, что сближало меня с Б.Чичибабиным — общая любовь к Пушкину, нашему литературному Богу. К

тому же автор этих строк тоже грешил стихами... И получилось так, что годы спустя мне довелось жить на улице Бориса Чичибабина (прежде «8-го съезда Советов»). К тому же нас вместе принимали в союз писателей СССР...

В то далекое время мы были довольно близки. Передо мной его книги с надписями: «Васе Омельченко на добрую память от старого друга — Борис Чичибабин 19.02.1991»; «Василию Омельченко в знак давней дружбы — Борис Чичибабин. 19.02.1991»...

Помню, рекомендацию в Союз Б.Чичибабину давал Маршак и это как-то сразу Чичибабина поднимало в наших глазах — Марша-ак... «Мистер Твистер, Бывший министр... Делец и банкир... Владелец заводов, Газет, пароходов...». Эти строки звучат и сейчас...

Принимали вместе с нами и фантаста Владимира Михановского. Как и положено, после отправились в ресторан «Харьков» — там у нас был знакомый официант Слава Иваненко, который приходил к нам в клуб играть на бильярде, а мы к нему — «разговляться». Михановский не захватил с собой денег, что было нехорошо с его стороны: именинник и на халяву... Кто-то посоветовал отослать его за деньгами, в дом «Слова». Борис заступился:

— Неудобно как-то гонять человека, у нас-то деньги есть...

Борис Чичибабин был человек очень тонкий, добрый и предельно совестливый. Если в каких-то неловких ситуациях один мой друг говорил: да ничего, переморгаем! — и делал то, что ему было нужно, в ущерб другим, то Борис, как человек порядочный, никогда не переступал порог приличия. Мне почему-то врезались в память эти его слова «как-то неудобно это...» Лицо его при этом имело выражение просительно-болезненное: не надо, ребята...

Помню, в конце восьмидесятых, когда полки в магазинах стремительно пустели, и продукты становились явным дефицитом, домашние заботы столкнули нас в большом гастрономе, что напротив завода имени Малышева. В то время слово «рабочий» еще звучало, с рабочим классом еще считались, и если в городе появлялся дефицит, то в первую очередь завозили продукты не в гастрономы в центре города, а в магазины рабочих районов.

В тот день мне кто-то позвонил: «На Малышева масло дают!».

Через полчаса я там. В магазине толпа, как на вокзале в трудные времена. Масло отпускали сразу во многих отделах. К каждому из них солидная очередь. Занял, как и другие

жаждущие масла, сразу в двух или в трех очередях – где быстрее подойдет очередь, там и стану, да и лишний раз возьму продукт, масла-то давали по полкилограмма...

Где-то через полчаса стояния в галдящей очереди, вижу высокого мужчину с кустистыми бровями, который становится в хвост моей очереди – Борис Чичибабин. Хотелось сказать людям: пропустите п о э т а без очереди... Но вряд ли очередь внимлет моим словам... Да и Борис вряд ли после этих слов остался бы в магазине. Подошел к нему, обменялись какими-то незначительными словами, посетовали, что времена настали не лучшие, и я предложил ему стать в очереди впереди меня, скажу, что я на тебя занимал... Борис виновато улыбнулся: «Нет, не надо, неудобно как-то...»

Но в более важных делах Борису Чичибабину было удобно.

Цветы для незнакомки

В один из вечеров мы шли по Сумской. Не в настроении. У меня не ладилось в семье, и у него – тоже. Была весна. В парке цвела сирень. Из окон домов неслась музыка.

Купите фиалки,
Вот фиалки лесные,
Скромны и неярки,
Они словно живые...

На углу цыганка продавала цветы, правда, не фиалки, а белые – крымские подснежники. Борис вдруг приостановился, загадочно и как-то счастливо улыбнулся:

– А давай купим букет и подарим... самой грустной девушке, которая нам первая встретится...

– Купить можно, – сказал я. – Но дарить первой встречной как-то... Неудобно... – добавил его же любимой оговоркой.

Поэт взглянул на прозаика так, как, наверное, и должен смотреть – с холодной насмешкой, деланно надменно: что, мол, ты понимаешь в жизни... И делано нравоучительно изрек:

– Неудобно на потолке спать – одеяло падает!.. А девушке дарить цветы...

Цветы были куплены и вручены девушке, которая стояла в одиночестве на углу, потерянная, грустная. Быть может, ждала парня, который еще не пришел... а может, и вообще не придет...

Девушка смутилась, конечно же, отказывалась от

неожиданного подарка, но приняла и улыбнулась.

А что еще надо поэту — чтобы люди, знакомые и незнакомые — улыбались жизни... Если сами мы не всегда можем быть счастливыми, то пусть хоть кого станет чуть счастливей...

Пришло время и свою истинную любовь Борис Чичибабин нашел. Она верна ему и сегодня — Лилия Семеновна Карась-Чичибабина, перед которой автор этих строк низко склоняет голову...

За то, что, благодаря ее заботе, увековечена память большого поэта — в Харькове названа улица его именем, на одном из домов, где жил поэт, установлен его барельеф, открылся и активно действует культурный «Чичибабин-центр» с библиотекой и читальным залом. Для любителей слова тропа сюда не зарастает...

Борис ЧИЧИБАБИН
ТЕБЕ, МОЯ РУСЬ

В январе 2013 харьковскому поэту Борису Чичибабину исполнилось бы 90 лет. Он был Поэтом с большой буквы, и мы к обоюдной радости сотрудничали бы долго и плодотворно, если бы ...

ПЛАЧ ПО УТРАЧЕННОЙ РОДИНЕ

Судьбе не крикнешь: «Чур-чура,
не мне держать ответ!»
Что было родиной вчера,
того сегодня нет.

Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империєю зла,

но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь,

С мороза душу в адский жар
впихнули гольшом:
я с родины не уезжал —
за что ж ее лишен?

Какой нас дьявол ввел в соблазн
и мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
и нет ее времен.

Исчезла вдруг с лица земли
тайком в один из дней,
а мы, как надо, не смогли
и попрощаться с ней.

Что больше нет ее, понять
живому не дано:
ведь родина — она как мать,
она и мы — одно...

В ее снегах смеялась смерть
с косою за плечом
и, отобрав руду и нефть,
поила первачом.

Ее судили стар и мал,
и барды, и князья,
но, проклиная, каждый знал,
что без нее нельзя.

И тот, кто клял, душою креп
и прозревал вину,
и рад был украинский хлеб
молдавскому вину.

Она глумилась надо мной,
но, как вела любовь,
я приезжал к себе домой
в ее конец любой.

В ней были думами близки
Баку и Ереван,
где я вверял свои виски
пахучим деревьям.

Ее просторов широта
была спиртов пьяней...
Теперь я круглый сирота —
по маме и по ней.

Из века в век, из рода в род
венцы ее племен
Бог собирал в один народ,
но божий враг силен.

И, чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.

При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет...
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.

1992

* * *

Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю —
молиться молюсь, а верить — не верю.

Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скоморошья,
почто не добра еси к чадам своим?

От плахи до плахи по бунтам, по гульбам
задор пропивала, порядок кляла, —
и кто из достойных тобой не погублен,
о гулкие кручи ломая крыла.

Нет меры жестокости и бескорыстью,
и зря о твоём лее добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.

Скучая трудом, лютовала во блюде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди
бахвалы, опричники и палачи.

А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит — и то не смогу.
Мне кровь заливают морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.

Наточен топор, и наставлена плаха.
Не мой ли, не мой ли приходит черед?

Но нет во мне грусти и нет во мне страха.
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.

Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит,
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.

1969

СТИХИ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

1

Ни с врагом, ни с другом не лукавлю.
Давний путь мой темен и грозов.
Я прошел по дереву и камню
повидавших виды городов.

Я дышал историей России.
Все листы в крови — куда ни глянь!
Грозный царь на кровли городские
простирает бешеную длань.

Клича смерть, опричники несутся.
Ветер крутит пыль и мечет прах.
Робкий свет пророков и безумцев
тихо каплет с виселиц и плах...

Но к о г д а закручивался узел
и к о г д а запенивался шквал,
Александр Сергеевич не трусил,
Николай Васильевич не лгал.

Меря жизнь гармонией небесной,
отрешась от лживой правоты,
не тужили бражники над бездной,
что не в срок их годы прожиты.

Не для славы жили, не для риска,
вольной правдой души утоля.
Тяжело Словесности Российской.
Хороши ее Учителя.

2

Пушкин, Лермонтов, Гоголь — благое начало,
соловьиная проза, пророческий стих.
Смотрит бедная Русь в золотые зеркала.
О, как ширится гул колокольный от них!

И основой святынь, и пределом заклатью
как возвышенно светит, как вольно звенит
торжествующий над Бонапартовой ратью
Возрождения русского мирный зенит.

Здесь любое словцо небывало значимо
и, как в тайне, безмерны, как в детстве, чисты
осененные светом тройного зачина
наши веси и грады, кусты и кресты.

Там, за ними тремя, как за дымкой Пролога,
ветер, мука и даль со враждой и тоской,
Русской Музы полет от Кольцова до Блока,
и ночной Достоевский, и всхожий Толстой.

Как вода по весне, разливается Повесть
и уносит пожитки, и славу, и хлам.
Безоглядная речь. Неподкупная совесть.
Мой таинственный Кремль. Наш единственный храм.

О, какая пора б для души ни настала
и какая б судьба ни взошла на порог,
в мирозданье, где было такое начало —
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, — там выживет Бог.

1979

Екатерина КОРОТКОВА

ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ

Молодая женщина однажды сказала:

— Мне хотелось бы жить в какое-нибудь хорошее время.

— Например? — спросила я.

Она ответила:

— Например, сразу после войны.

— Ну, какое же это хорошее время? — удивилась я. —

После войны было очень голодно. И одевались ужасно. А потом, в конце сороковых многих сажали, особенно молодых. Это вовсе не хорошее время.

— Нет, — ответила она упрямо и ничего не стала мне доказывать. — Это было хорошее время.

На том и кончился наш немного странный разговор. Позже я не раз возвращалась мыслями и чувствами к этому времени, в котором я жила, а собеседница моя не жила, и вот что мне напомнили мои мысли и чувства.

Послевоенное десятилетие — прелестная щемящая пора. Это время пробуждения от тяжелой, ужасной болезни, время слабенького, робкого отползания от неё. Всё бледненькое ещё, обессиленное, и ноги дрожат в коленках, звенит в ушах, и голова как не своя. Ещё не бегают, не ходят, а ковыляют еле-еле, и вместо жаркого весеннего солнца холодноватый молочный туман.

Война, воронка, мясорубка ещё так близко, кажется, заурчит в ней что-то, заклеочет и она втянет в себя тех, кто вроде бы успел спастись. И втягивает и продолжает поглощать обрадовавшихся раньше времени дистрофиков, инвалидов и ещё долго-долго до конца всех наших жизней будет нас поглощать.

Но послевоенное, опасное и мучительное время — время наивысшей радости, какую знает человек. Время движения от смерти к здоровью, время пробуждения желаний и счастья бытия.

Похожие на старух молодые женщины, желтовато-бледные, некрасиво худые, не стучат по асфальту каблучками туфель, а шаркают резиновыми галошами, надетыми прямо на заплатанные грубые чулки.

Галоши, привычные, спасительные галоши, ставшие

родными за войну, вызывают смущение первыми. На толкучке приобретаются поношенные туфли, и вот уж чиненные, стоптанные каблучки худо-бедно застучали по тротуару. А дальше пошло — какие-то дешевенькие ситчики, «слушай, дай мне срисовать фасон», и все больше и больше не просто расчёсанных, а причёсанных головок, и причёски делаются всё сложнее.

И школы танцев открываются так стремительно, будто быстрый фокс и слоу фокс — это насущный хлеб. И у мужчин входят в моду матерчатые комбинированные курточки. И уже появилось великое слово «капрон». «Слушай, как ты достаешь капрон?» — «Очень просто. Захожу в магазин: Капрон есть? Ах, нет? До свиданья. Капрон есть? Нет? До свиданья. Капрон есть? Заверните две пары. Спасибо, до свиданья. Вот так и достаю».

В аудиториях сидят ребята в гимнастерках и поначалу сильно отстают от сопляков со школьной скамьи. На рынке прямо на земле стоят патефоны и поют такими узнаваемыми, за сердце хватающими голосами Лещенко, Шульженко, Козина, Утесова. И мужественный баритон Бунчикова вещает чистую правду, что, мол, не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна.

Нам не только Африка, нам и Англия не нужна, мы гордимся, что у них там ещё карточки, а у нас их уже нет, и без приязни смотрим на всезнаек, уверяющих, что, хотя карточки в Англии есть, там едят сытнее, чем у нас. Может быть, вполне возможно, они ведь и всегда жили лучше, а всё-таки приятно, что карточки мы отменили раньше. Черт бы с ним, голоднее — сытнее, мы живем, мы выздоравливаем на свой лад.

1990

ПЕСНИ ВОЙНЫ

1

Ночь холодная, сентябрьская, непроглядно черная, так черна, что отсвечивает каким-то темно-фиолетовым цветом матросского бушлата или засохших чернил. Нигде ни звездочки, ни искры — маскировка.

Спать хочется до смерти, хочется в сон, в тепло телячьего вагона, откуда почему-то меня вытащили мама с тетей и поволокли сквозь тьму, и я иду и ничего не спрашиваю, и

ничего не вижу, только переступаю через рельсы. Тетя и мама тормозят, тянут меня, и мы, втроем, с вещами, все перешагиваем через рельсы, а иногда обходим вагоны или составы. Большая станция, узловая, но не видно ничего, и лишь одинокий женский голос поет что-то унылое, вроде бы колыбельное, напев странный — русский и нерусский... Поволжский? Областной?

Мы бредем, переступая через рельсы, тьма бушлатная, тьма непроглядная, а голос все поет.

Война. Россия.

2.

Просторная полупустая комната. Темновато — то ли вечер надвигается, то ли дождь. Нас трое — папа и мы с Федей, моим сводным братом. Никто к нам не заглядывает, никто не беспокоит нас в этой тихой, на отшибе расположенной комнате большого дачного дома.

Мы поём фронтовые песни. Уже не в первый раз забираемся мы сюда и поём сколько душе угодно эти песни отшумевшей несколько лет назад войны.

Прошлой зимой меня спросил английский литературовед, профессор: «Что вы делали в последний день войны?» Необычный вопрос для иностранца, они чаще спрашивают что-нибудь совсем другое, ожидаемое. Я ответила, что мы с подружками весь день ходили и пели фронтовые песни, кричали «ура» и снова пели без конца, так что к вечеру совсем охрипли. «Вы отпраздновали окончание войны тем, что пели песни войны?» — улыбнувшись, спросил профессор.

Я кивнула. Что поделаешь? Казалось бы, закончилась война и позабыть о ней скорей, да заодно и о её песнях. Но мы отплясывали под них линды и фокстроты, мы пели их на вечеринках и в поездах, порою ночь напролет, мешая спать пассажирам.

Странное, необъяснимое явление — наши военные песни. Ведь мы поем их и сейчас, и не на митингах, а дома — в одиночку, с подругой, с друзьями.

Стоит нам вспомнить эту страшную кровопролитную войну, и сразу все звенит ее прелестными незабываемыми песнями.

Мы их помним до сих пор, эти песни войны, танцуем под них, плачем, девчонки — школьницы военной поры. Их поют и те, кто воевал, кто во время войны был взрослым. Пел их и мой отец, корреспондент «Красной звезды», кавалер боевых орденов и медалей.

Немцы были сильнее нас, это все знают. Немцы были сильнее, а мы победили. Сейчас довольно часто говорят: не надо было побеждать, мы бы жили лучше.

Память что ли у людей плохая, вернее, избирательная какая-то, лукавая? Разве можно забыть, как мы слушали сводки, как ждали победы, как только этим жили? Разве можно не замечать, что мы до сих пор поём военные песни к удивлению союзников.

В нашей жизни это были великие четыре года. Народ ощутил свою глубину и силу этой глубины, и эта сила оказалась большей, чем просто сила. Мы не шапками закидали немцев — в ширпотребе мы никогда не были сильны, нас глубина российская спасла, в любом смысле этого слова.

Среди песен, что мы пели с отцом в конце сороковых на даче, в Загорянке, плохих не было. Все песни нашей Отечественной войны милы душе и незабвенны.

Есть среди них прекрасные, великие песни. Кто их сочинил? Кто только не сочинял.

Милую и веселую песню «Давай закурим» сочинил в самом начале войны милый и веселый человек Илюша Френкель — так его называли. Я познакомилась с ним много позже, он уже был старичок, но всё такой же славный. «Теплый ветер дует, развезло дороги...» — и словно в самом деле теплый и беспечный ветер надежды влетел в наш приунывший класс.

Большой писательский начальник, лицо для всех нас сугубо официальное, Алексей Сурков — автор одной из лучших военных песен, из которой нельзя выбросить ни одной строчки, а некоторые вошли в нашу жизнь.

Ты теперь далеко, далеко,
Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.

Все мы — и на фронте, и в тылу, и старые, и малые — чувствовали эти четыре шага.

Мы пели «Огонек» и «Землянку», «Давай закурим» и «Темную ночь»; тихую, улыбчивую, прикрывающую улыбкой печаль «Давно мы дома не были».

Мы пели поразительную песню «Дороги», ни на одну из песен не похожую. В ней тяжелая поступь войны и её стремительность, в ней пленительная удадь и беспросветный мрак, в ней величайший взлет души её создателей, и наши

души она до сих пор тревожит, когда в мерный топот сапог по пыльному бурьяну вдруг влетает отчаянный, лихой и горький крик:

Знать не можешь доли своей,
Может, крылья сложишь
 посреди степей.

За четыре военных года отец собрал фронтовой самиздат. Эти песни никогда не передавали по радио, мы не пели их в компаниях друзей. По нашим нынешним меркам были они совсем невинны, а одна в эпоху Брежнева даже угодила в кинофильм. Это была вариация старинной шахтерской песни:

Гудки протяжно загудели,
Народ бежит густой толпой,
И молодого коногона
Несут с разбитой головой.

По-моему, её присвоили себе все роды войск. В кинофильме «На войне, как на войне» её пели танкисты, но кинофильм был снят через много лет, а мы с отцом пели про летчика. Её привез в Москву Твардовский, побывав в ВВ частях Васьки Сталина. Мне кажется, все эти фамилии и имена придавали безобидной фольклорной песне особый шарм.

Отец запевал сурово рокочущим голосом, и скверный слух его не мог ничему помешать — слишком простой и знакомой была мелодия, слишком мы были воодушевлены:

Машина в штопоре кружится,
Ревет, летит земле на грудь...
Мы с Федором подхватывали строчки, знакомые буквально всем, начиная с шахтеров, еще в той, старой России:

Не плачь, Маруся, успокойся,
Меня навеки позабудь.

Вторая фольклорная песня о гибели военного корреспондента не из чего не переделана, она возникла во время войны, и лишь мелодию военкоров позаимствовали у народа — безотказное для всех подобных случаев «Раскинулось море широко».

Отец пел её с печальным пафосом, с истинным чувством.
Она и вправду была хороша.

Погиб репортер в многодневном бою
От Буга в пути к Приднестровью,
В газету успел он отправить статью,
Своей обогреленную кровью.

Редактор суровый статью прочитал
И вызвал сотрудницу Зину,
Подумал, за ухом пером почесал
И вымолвил грозно: «В корзину».

Наутро уборщицы вымыли пол,
Чернильные пятна замыли,
И очерк готовый в набор не пошел,
И все репортера забыли.

И, потрянув головой, с особым горестным воодушевлением
завершал он последний куплет:

И только один лишь седой метранпаж
Спокойно и просто заметил,
Что вот, мол, остёр был его карандаш,
И смерть свою славно он встретил.

Третья и последняя из привезенных с фронтов называлась
«Машенька». В «Репортере» чувствовалась писательская
рука. «Машенька» вполне могла быть народной. Она тоже
была печальна... но не только. В простой, казалось бы,
истории девушки, приехавшей на фронт защищать Родину
и ставшей ППЖ, была подлинная ненадуманная сложность
– сложность войны, сложность души.

Начать с того, что девушку вообще-то звали Настей. Но
была она так истинно по-русски наивна, мила, хороша, что
бойцы прозвали её Машенькой. Прозвали Машенькой, любя
и искренне любясь ею. Но время шло, и тосковали без
женщин мужские сердца, ожесточались в жестоких военных
буднях. Ожесточались, но всё ещё берегли.

А однажды осеннею ночью
Командир приласкал её сам,
До утра называл её доченькой,
А потом и пошла по рукам.

Такая вот, казалось бы, неромантическая житейская история. Но нет в ней пошлости. Страшная грустная песня о нашей войне.

Но вот отец встаёт. Встаём и мы с Федькой. Отец стоит, сутулый, опустив руки, стоит, как в строю. Лицо торжественное, строгое.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашисткой силой темною,
С проклятою ордой.

Эту песню отец считал гениальной и не раз об этом твердо, убеждённо говорил. Он ввел её в роман «Жизнь и судьба», где её, «казалось... поёт сама война».

Он всегда пел её стоя.

1995

Авторы журнала *Биографические справки*

БЕРЛИН Валерий Давидович родился в 1938 году в Николаеве. Закончил историко-филологический факультет пединститута в Комсомольске-на-Амуре. Был переводчиком, корректором, сотрудником мемориального музея И.Ю. Репина в Чугуеве, лектором общества «Знание» и Общества охраны памятников истории и культуры, педагогом по шахматам в детской спортивной школе. Член Союза журналистов Украины (2000), член Союза писателей России (2012). Автор пяти краеведческих книг. Дипломант конкурса журналистов «Газета-2002».

БОЙКО Виктор Степанович родился в 1946 года на Харьковщине. Высшее образование получал на механико-математическом факультете ХГУ и на физико-математическом факультете ХГПИ им. Г. Сковороды. Литературовед, прозаик, переводчик. Печататься начал в 1971 году. Его стихи публиковались в переводах на белорусский, молдавский, немецкий и русский языки. Награжден Украинским фондом культуры «За подвижничество в культуре». Заслуженный работник культуры Украины (2002). Лауреат литературно-художественной премии им. И. С. Нечуя-Левицкого (2008) и харьковской муниципальной литературной премии им. Александра Олеся (2006). Член НСПУ (1979). Награждён грамотой НСПУ и медалью «Почетное отличие» (2006). Живёт в г. Харьков.

БРАТУТА Эдуард Григорьевич родился в 1931 году в Харькове. Закончил ХПИ. Д-р техн. наук. Автор 10 поэтических сборников. Награждён почётным знаком «Отличник образования Украины». Живет в Харькове.

ГОЛУБЕВА Светлана Сергеевна родилась в Пскове. Автор двух книг прозы. Публиковались в журналах «Роман-журнал XXI век», «Литература в школе», «Енисейский литератор», «Бийский вестник». Дипломант IV Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А.Н. Толстого. Член Союза писателей России (2010). Живёт в г. Орле.

ГРИБАНОВА Татьяна Ивановна родилась в деревне Игино Орловской области. Автор двух поэтических книг. Стихи и рассказы публиковались в журналах «Наш современник», «Роман-журнал «XXI век», «Московский вестник», «Народное творчество», «Простор», «Подъём». Лауреат поэтического конкурса им. Н. Рубцова «Звезда полей». Член Союза писателей России (2009). Живёт в г. Орле.

ГУТОРОВ Александр Михайлович родился в 1939 году в Харькове. Доцент Харьковского университета. Автор научных книг и статей по литературе, сатирических стихов и песен, пародий. Живёт в Харькове.

КАТАЕВА Римма Александровна – поэт, переводчик, критик, публицист. Родилась в г. Харькове, школу окончила с золотой медалью. Член НСПУ. Автор 11 сборников поэзии. Публиковалась в украинских и международных сборниках, альманахах, журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Огонёк», «Смена», «Радуга», «Москва», «Донбасс», «Слобожанщина», «Славянин», в «Литературной газете» (Москва) и «Новой литературной газете» (Киев). На украинском языке – в «Літературній Україні» и в журнале «Прапор-Березіль». Подборка стихов на украинском языке вошла в книгу «А українською – так» (Антологія російської поезії України. Київ, 2011). За работу с творческой молодежью и книгу стихов «Харьков – судьба моя» в 2005 году удостоена звания «Харьковчанин года». Лауреат всеукраинской литературной премии им. Николая Ушакова, муниципальной литературной премии им. Бориса Слуцкого. Живёт в г. Харькове.

КОПЫЧКО Владимир Петрович – член Союза писателей России (2009 г.), выпускник самолетостроительного факультета Харьковского авиационного института (1979 г.), кандидат технических наук (1986 г.), старший научный сотрудник (1989 г.). Автор 9 книг и поэтических сборников, более 200 песен (автор-исполнитель) и ряда проектов в области культуры. Публикуется в периодических изданиях Украины и России. Награжден орденом Преподобного Нестора летописца 3 степени за работу над поэтическим переложением Книги Псалтыри (2005 г.) Живет в г. Харькове.

КОПЫЧКО Юлия Геннадиевна – член Союза писателей России (2009 г.), творческой ассоциации литераторов «Слобожанщина». Закончила Харьковский институт культуры (1979 г.) по специальности библиотекарь-библиограф. Автор 6 поэтических сборников, более 20 песен, в том числе «Харьковского вальса», прозвучавшего в исполнении Людмилы Гурченко. Публикуется в периодических изданиях и поэтических альманахах Украины и России. Живет в г. Харькове.

КОРЖ Иван Иванович родился в 1934 году в г. Харькове. Работал на заводах «Турбоатом» и ХЭМЗ. Посещал литературную студию при ДК ХЭМЗ, Центральную студию им. П. Г. Тычины при Харьковском отделении Союза писателей. Публиковался в периодической печати. Автор нескольких сборников. Член Союза писателей России. Живет в г. Харькове.

КОРОТКОВА Екатерина Васильевна родилась в Киеве. Окончила Харьковский институт иностранных языков (англ. отд.). Профессиональный писатель и переводчик. Живет в г. Москве.

КОТЬКАЛО Сергей Иванович родился в 1960 году в г. Смела Черкасской области. Окончил Политехнический институт. Работал на строительстве атомных и тепловых электростанций СССР. Закончил Литературный институт

имени А.М. Горького (мастерская писателя-фронтовика Михаила Лобанова). Прозаик, публицист. Гл. редактор информационно-издательской продюсерской компании «Ихтиос», журнала «Новая книга России», православного обозрения «Русское воскресение» и информационного портала «Русский мир». Автор нескольких книг. Сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора. Лауреат премии им. А. С. Суворина.
Живёт в г. Москве.

ЛЕВИН Роман Александрович родился в 1930 г. в Лубнах (Полтавская обл.) в семье военного. Учился в Суворовском училище. Писать и печататься начал в конце сороковых. Окончил Литературный институт им. М.Горького (1964). Член СП СССР (1962). Член СП России. Автор более 30 книг стихов и прозы.
Живёт в Харькове.

ЛИГОСТАЕВА Светлана Михайловна родилась в 1946 г. в Ташкенте. Окончила ХГУ им. А.М.Горького, филолог (1969), а также Киевскую ВПШ по специальности «журналистика» (1984). Собственный корреспондент национального информационного агентства УКРИНФОРМ. Заслуженный журналист Украины.
Живёт в Харькове.

МИРОШНИЧЕНКО Анатолий Михайлович родился в 1939 году в Макеевке (Донецкая обл.). Окончил металлургический факультет Донецкого политехнического института (1962). Работал на заводах, в НИИ и КБ в Макеевке, Краматорске, Донецке, Харькове. Автор двенадцати художественных книг, переводов и эссе, вышедших в издательствах Харькова и Москвы. Публиковался в «Антологии современной русской поэзии Украины» (1998), в Пушкинском альбоме «...не зарастёт народная тропа...» (1999), в коллективных литературных сборниках и альманахах, журналах. Член Союза писателей России (1996), Национального союза писателей Украины (2004). Лауреат международной литературной премии «Слобожанщина» (2006).
Живёт в Харькове.

ОЛЕНИНА Елена Юрьевна родилась в г. Донецк. Окончила ХГИК (1988). Д-р искусствоведения. Работает в ХГАК. Автор книги стихов, публиковалась в международном альманахе «Склянка часу» (г. Канев, 2000, 2006), сборнике «Харьків'яни. Поема про місто в цитатах поетичних творів» (Харьков, 2007), альманахе «Время Визбора» (г. Лебедин).
Живет в г. Харькове.

ОЛЬШАНСКИЙ Александр Андреевич родился в 1940 году в г. Изюм (Харьковская обл.). Член Союза писателей (1979). После школы закончил Чугуево-Бабчанский лесной техникум. В 1961-63 гг. учился в Литературном институте им. А. М. Горького. В 1963-66 гг. служил на Дальнем Востоке. Работал в горрайонной газете, в центральном комсомольском журнале, издательстве «Молодая гвардия», в Госкомиздате СССР, секретарем Московской писательской организации, редактором газеты «Московский литератор». В

1987-91 гг. член правления, начальник управления литературы и искусства Всесоюзного агентства по авторским правам. В настоящее время – председатель правления Содружества выпускников Литературного института им. А.М. Горького, руководитель семинара прозы на Высших литературных курсах, политический обозреватель международного журнала «Форум». Награжден медалями СССР и РФ.
Живёт в г. Москве.

ОМЕЛЬЧЕНКО Василий Михайлович родился в Украине в 1931 году. Детство, юность и молодость прошли в России, в Сибири. Служил в частях «Осназ». Член Национального союза писателей Украины и Союза писателей России. Автор более трех десятков книг: романов, повестей, рассказов и очерков. Лауреат Международного литературного конкурса «Вечная память», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лауреат республиканской премии имени В.Г.Короленко.
Живет в г. Харькове.

ОНОПРИЕНКО Юрий Алексеевич родился в 1954 году в селе Стригуны Белгородской области, в Орле живёт с 1973 года. 30 лет работал в редакции газеты «Орловская правда». Лауреат ряда журналистских премий, в том числе Всероссийской премии Союза журналистов (1996). Автор девяти книг рассказов, повестей и романов и многочисленных публикаций в литературных журналах. Лауреат Всероссийских литературных премий им. И.А. Бунина (2004), «Вешние воды» (2010), Всероссийского литературного конкурса короткого рассказа им. В. Шукшина (1998), дважды лауреат премии журнала «Наш современник» «За лучшее произведение года» (2005, 2009). За литературный труд награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётными грамотами Союза писателей России. Член Союза писателей СССР (1992).
Живёт в г. Орле.

ПАВЛЫЧКО Дмитрий Васильевич родился в 1929 году в г. Стопчатова на Ивано-Франковщине. Украинский поэт, переводчик, литературный критик, политический деятель, дипломат. Окончил филологический факультет Львовского университета и аспирантуру. Работал в журналах «Жовтень», «Всесвіт». Избирался секретарём Союза писателей Украины. Автор большого количества поэтических и публицистических сборников, переводов, книг для детей, сценариев к художественным фильмам. Член Союза писателей Украины с 1954 года. Герой Украины. Лауреат национальной премии им. Т. Шевченко и Н. Островского.
Живёт в г. Киеве.

РОМАНОВСКИЙ Александр Георгиевич родился в 1953 г. в с. Занадворовка в Приморском крае на Дальнем Востоке в семье офицера. Почетный член Харьковской областной организации Национального союза писателей Украины (2002), член Союза писателей России (2003). Председатель Харьковского отделения СП России (с 2006). Секретарь Союза писателей России (с 2009). Награжден орденом «Почётный Крест Украинской Православной Церкви» (2003). Лауреат международной премии «Имперская культура» (2009),

литературной премии «Слобожанщина» (2006). Автор 11 поэтических сборников, изданных в Украине, России и Польше.

Живёт в г. Харькове.

СЫТНИКОВА Антонина Семеновна родилась в Сумской области в 1955 году. Окончила ХПИ. Работала на Орловском сталепрокатном заводе инженером-электронщиком. Печататься начала в 1993 году. Публикуется в местной и региональной прессе, в альманахах, журналах, коллективных сборниках. Участник Всероссийского ежегодного Фестиваля-конкурса «Хрустальный родник». Член Международного союза писателей и мастеров искусств. Живёт в Орле.

ТАТАРИНОВ Юрий Анатольевич родился в 1955 году в селе Архангельское Кировской области. Служил в Вооруженных силах СССР. После демобилизации работает в г. Изюме. Автор трех стихотворных книг.

Живет в г. Изюме.

ТУРБИН Михаил Леонидович родился в 1941 году в городе Ливны Орловской области. Автор шести поэтических сборников, стихи публиковались во многих литературных изданиях. Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды» (2007), кавалер Золотой Есенинской медали (2007). За литературный труд награждён Почётными грамотами Союза писателей России. Член Союза писателей России (1996).

Живё в г. Орле.

ФРОЕНЧЕНКО Борис родился в 1941 году в Харькове. Закончил исторический факультет ХГУ. Автор трех поэтических сборников. Публиковался в альманахе «Харьковский мост». Член Союза писателей России (2012).

Живет в г. Харькове.

ЦВИРКУН Ольга родилась в г. Киеве в 1974 г. Образование получила в Сорбонне на факультете социальных и гуманитарных наук. Стихи пишет с 15 лет. Публиковалась в журнале «Спасите наши души», «Купол», на сайте Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

Живёт в г. Киеве.

ЧИЧИБАБИН Борис Алексеевич (Полушин) (9 января 1923, Кременчуг — 15 декабря 1994, Харьков) — русский советский поэт, лауреат Государственной премии СССР (1990). Воспитывался в семье офицера. До 1930 семья жила в Кировограде, потом в пос. Рогань под Харьковом, где Борис пошёл в школу. В 1935 Полушины переехали в Чугуев, где Борис учился в Чугуевской 1-й школе с 5-го по 10-й класс. По окончании школы поступил на исторический факультет ХГУ. В ноябре 1942 Борис Полушин был призван в армию. В Харьков Чичибабин вернулся летом 1951. Долгое время был разнорабочим, около года проработал в Харьковском театре русской драмы подсобным рабочим сцены, потом окончил бухгалтерские курсы, которые были самым быстрым и доступным способом получить специальность. С 1953 работал бухгалтером домоуправления. В 1958 году появляется первая публикация в журнале «Знамя» (под фамилией Полушин). В 1962 году его стихи публикуются в «Новом мире», харьковских

и киевских изданиях. В 1963 году выходят из печати два первых сборника стихов. В январе 1964 поручают руководство литературной студией при ДК работников связи. В 1965 в Харькове выходит сборник «Гармония». В 1966 году по негласному требованию КГБ Чичибабина отстранили от руководства студией. По иронии судьбы в этом же году поэта приняли в СП СССР (одну из рекомендаций дал С. Я. Маршак). В начале 1968 года в Харькове печатается последний доперестроечный сборник Чичибабина — «Плывет Аврора». В 1973 его исключают из СП СССР. Все это время (1966-1989) он работал старшим мастером материально-заготовительной службы (попросту — счетоводом) харьковского трамвайно-троллейбусного управления. В 1987 поэта восстанавливают в Союзе писателей (с сохранением стажа). Осенью 1988 года Харьков посещает съемочная группа из «Останкино», и в начале 1989-го по ЦТ показывают документальный фильм «О Борисе Чичибабине». В том же году фирма «Мелодия» выпустила пластинку «Колокол» с записями выступлений поэта. В 1990 за изданную за свой счёт книгу «Колокол» был удостоен Государственной премии СССР. Умер Борис Чичибабин в декабре 1994. Похоронен на 2-м кладбище г. Харькова (Украина).

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Светлана ЛИГОСТАЕВА. Прикоснувшись рукой — передай свою душу 3

ПОЭЗИЯ

Александр РОМАНОВСКИЙ. Где-то в тишине вечерней	13
Ольга ЦВИРКУН. Пояс Богородицы	29
Эдуард БРАТУТА. Внимая Божьей благодати.....	36
Борис ФРОЕНЧЕНКО. «Зима - это воин, в броню одетый»	38
Анатолий МИРОШНИЧЕНКО. Античные мотивы	64
Михаил ТУРБИН. Пахнет веками овражная глина	107
Виктор БОЙКО. «Лишилась Біблія і Ти...»	123
Юлия КОПЫЧКО. Я даю тебе в руки священный елей	140
Владимир КОПЫЧКО. Мерилом сложности нам служит простота... 149	
Дмытро ПАВЛЫЧКО. «И шалаши, и замки, и платы...»	194
Иван КОРЖ. Ты свежесть принесла с мороза.....	199
Юрий ТАТАРИНОВ. «... Но вето не наложено на совесть»	212
Антонина СЫТНИКОВА. «Стоит старушка на коленях...»	219
Роман ЛЕВИН. Помнишь ты, помнят тебя	225
Елена ОЛЕНИНА. Сердце звенит, как разбитый хрусталь	228
Борис ЧИЧИБАБИН. Тебе, моя Русь.....	241

ПРОЗА

Александр ОЛЬШАНСКИЙ. В июне, посреди войны	20
Привет от Шишкина	42
Александр ГУТОРОВ. Война не мать родна	79
Юрий ОНОПРИЕНКО. Граша	112
Татьяна ГРИБАНОВА. Тришка	130
Светлана ГОЛУБЕВА. Золотой мальчик	158

МЕМУАРЫ

Василий ОМЕЛЬЧЕНКО. Там жили поэты	233
Екатерина КОРОТКОВА. Хорошее время.	246
Песни войны	247

РОДИНОВЕДЕНИЕ

	203
Валерий БЕРЛИН. Харьковская юность Клавдии Шульженко	

АВТОРЫ ЖУРНАЛА

.....	253
-------	-----

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№14-15

Гл. редактор Л.И. Мачулин

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 19.01.2013. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.
Печать офсет. Гарнитура PragmaticaCondСТТ. Усл. печ. л. 27,30. Уч.-изд. л.
27,70. Изд. №1. Зак. №____. Тир. 500 экз.

Учредитель: 000 «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.
Тел./факс (057) 705-27-56
e-mail: editor01@list.ru

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: серия ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISSN 2221-9331